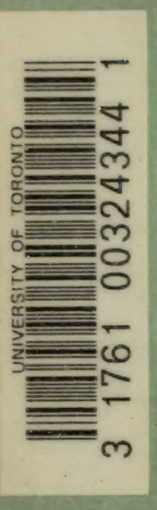
П·КРАСНОВЪ·



ПЯТЬ РАССКАЗОВ

Поѣздка на Ай-Петри

и другіе разсказы:

Лунною ночью. Трупъ. Хильда. Письма матери.

PG
3467
K7P63
1921
c.1
ROBA

П. КРАСНОВЪ

ПЯТЬ РАССКАЗОВ

POIEZDKA

Поѣздка на Ай-Петри

и другіе разсказы:

Лунною ночью. Трупъ. Хильда. Письма матери.

LIBRARY
JUL 1 1965
PG 3467 K7P63 1921



Генерал П. Н. Краснов



Поѣздка на Ай-Петри.

I.

— Марья Васильевна! Вы-ли? Какими судьбами! Вотъ уже не думала увидѣть васъ въ Ялтѣ! И Григорій Николаевичъ съ вами. Совсѣмъ лишнее. Это знаете, какъ говорится, въ Тулу да со своимъ самоваромъ. Тутъ никто такъ не ѣздитъ. Давно? На долго? Да, постойте, — пойдите съ нами, я васъ представлю: Monsieur Перепелицынъ. . . Кажется, не напутала, Володя Зубаревъ, Саша Грюнфельдтъ, Варвара Михайловна, Усковская, мой генералъ и премилый. . . . Вы ужинали? Нѣтъ? Да садитесь съ нами. Я въ Ялтѣ какъ дома. Тутъ у меня всѣ свои. А увидишь Петербургское лицо и обрадуешься. Вы Львова видали, а Карпова? Боже мой, что они на конфетти со мной творили. Садитесь, душечка, да подальше отъ мужа. Володя займите Марью Васильевну. Вотъ вамъ карточка.

Григорій Николаевичъ, — чуръ — женѣ свобода, а вамъ — madame Усковская. . .

Гулъ и шумъ стояли въ ушахъ Марьи Васильевны отъ этой рѣчи, отъ сѣти вопросовъ и готовыхъ отвѣтовъ. Ей всего девятнадцать лѣтъ, но она второй годъ замужемъ. Она такая хорошенькая, что прямо со школьной скамьи попала подъ вѣнецъ. Григорію Николаевичу подъ сорокъ. Онъ мѣшковатъ немного, носитъ очки, нерасторопенъ, но онъ такой добрый. Не любить его нельзя, а измѣнить преступленіе. Да она и не думала объ измѣнѣ никогда. Что это говоритъ Вѣра Ѳедоровна? «Въ Тулу со своимъ самоваромъ». Что это значитъ? Такая болтушка, право! Володя. . . А какъ его по отчеству, такъ и не знаешь, какъ же называть его? Какъ это глупо! А какіе непріятные глаза у Перепелицына. Борода какая черная и усы нависшіе. Она бы боялась его. . . Что это играютъ? Ахъ это изъ «Гейши» — чонгъ — кина, чонгъ-кина, чонгъ-кина. . . хорошенькій мотивъ! . . .

— Володя! Вы плохо занимаете ввѣренную вамъ даму. Смотрите, она молчитъ и о чемъ то мечтаетъ. Марья Васильевна, душечка, о чемъ вы мечтаете? Ну, разскажите мнѣ, какъ вы время проводите. Безсовѣстная я. Закидала васъ вопросами и ни на одинъ не дала вамъ отвѣтить. Давно вы въ Ялтѣ?

— Скоро недѣля.

— Недѣля! И первый разъ въ городскомъ

саду. Да что это вы, милушка!? Тутъ вся Ялта бываетъ — всѣ, всѣ. . . .

— Да какъ то сюда не тянетъ. Мы сидимъ съ мужемъ на балконѣ и не знаемъ, куда смотрѣть. Впереди море, такое красивое, свѣтлое, сзади горы чудныя и веселыя. Кипарисы, солнце, небо. . . .

— Марья Васильевна, все это при васъ и останется, но вѣдь надо общество! Въ Гурзуфѣ были?

— Да, ѣздили на пароходѣ.

— А въ Алупкѣ, на Учанъ-Су, на Ай-Петри? Надо все видѣть, все узнать, развѣ такъ можно? . . .

— Да видите ли, Григорію Николаевичу трудно ѣздить долго въ экипажѣ. Это его утомляетъ. Верхомъ я не ѣзжу.

— Но причемъ тутъ Григорій Николаевичъ! Ахъ, душечка, такъ нельзя! Володя, вы мнѣ опять жмете ногу. . . . Этакій шалунъ мальчишка. . . . Нѣтъ, Марья Васильевна, такъ нельзя! Такъ въ Ялтѣ не живутъ. Надо ѣздить, знакомиться, тѣмъ болѣе, что это такъ легко здѣсь дѣлается. Неужели вы не были на Ай-Петри?

— Нѣтъ, не была.

— Но разъ вы любите природу, вы должны быть на Ай-Петри. Это такъ грандіозно, красиво. Вы знаете, увидѣть восходъ солнца на Ай-Петри и умереть — больше и лучше ничего, никогда не увидите.

— Да, я хотѣла бы поѣхать . . ., — робко проговорила Марья Васильевна. Положительно у нея кружилась голова. Мотивъ «Гейши» застрялъ въ мозгу. «Чонгъ-кина, чонгъ-кина, чонгъ, чонгъ-кина, чонгъ.» А вѣдь она вина не пила. Она просто отвыкла отъ общества. Вѣдь всегда вдвоемъ. У Володи красивые глаза. . . . А какая хорошенькая собака у madame Усковской.

— Вѣра Ѳедоровна, это шпицъ?

— Шпицъ. . . . Это знаменитость Ялты. Не правда-ли, какая роскошь! Варвара Михайловна, покажите вашу «Тюнечку».

Варвара Михайловна оторвалась отъ бесѣды съ Грюнфельдтомъ, посмотрѣла въ черепаховый лорнетъ на Марью Васильевну, улыбнулась веселой открытой улыбкой, чмокнула собачку и, взявъ ее на руки, передала Марьѣ Васильевнѣ.

— Не шпицъ, а прелесть, — съ чуть замѣтнымъ кавказскимъ акцентомъ проговорилъ Перепелицынъ.

— Чудная собака, другой такой собаки нѣтъ.

Марья Васильевна погрузила свою маленькую ручку въ шелковистую шерсть шпица. Шпицъ смотрѣлъ на нее умными черными глазами и настораживалъ большія бѣлыя уши. И Марьѣ Васильевнѣ было легче съ собакой. Не такъ страшно. Чего страшно? Этихъ людей, этихъ взглядовъ, этой музыки, этого «чонгъ-кина-чонгъ», что не молчно стоитъ въ ушахъ. Григорій Николаевичъ занялся съ генераломъ политикой. Она слышитъ его милый, добрый

голосъ — вотъ онъ говоритъ — «позвольте-съ. развѣ можетъ Россія ввязаться въ это дѣло. Политическое равновѣсіе требуетъ, чтобы она держалась того мощнаго, властнаго тона, который ею взятъ. Англія можетъ пускаться на авантюры, но для Россіи это неприлично». Генералъ сердито возражаетъ и горячится, Григорій Николаевичъ спокоенъ — вотъ онъ выслушалъ мнѣніе генерала и опять заговорилъ. Марья Васильевна любуется мужемъ, собачка лежитъ у нея на колѣняхъ и ей спокойно.

— Вы долго думаете пробыть въ Ялтѣ? — спрашиваетъ ее Володя.

— А! — какъ со сна вскрикиваетъ Марья Васильевна. Она забылась, она не слыхала вопроса. Володя повторяетъ. Онъ красивъ, этотъ мальчикъ.... Мальчикъ.... Онъ старше ее и «Володя»! какъ это все странно!

— Недѣли двѣ... Не знаю... Какъ мужъ.... У него отпускъ на два мѣсяца.

— Какого вина хотите, бѣлаго или краснаго? — тянется къ ней съ двумя бутылками Перепелицынъ. У него страшные, но красивые глаза.

— Я? Ой, нѣтъ! я никакого. Я не пью вина, — испуганно говоритъ Марья Васильевна и прикрываетъ рюмки своими маленькими розовыми ладонями. — Я, правда, не пью.

— Душечка, пустяки! Это крымское, слабое. совсѣмъ, совсѣмъ слабое. Налейте ей, monsieur Перепелицынъ «Пино флери».

— Есть, — отзывается Володя и наливаетъ Марьѣ Васильевнѣ въ рюмку розоватую жидкость.

Марья Васильевна воспитана въ строгомъ домѣ, она вина никогда не пила. На свадьбѣ выпила бокалъ, да и то опьянѣла. И потомъ на маминой серебряной свадьбѣ ея кузенъ, драгунскій корнетъ, напоилъ ее ликеромъ. Но ликеръ былъ сладкій, какъ конфета.

— Попробуйте, душечка, — говоритъ ей madame Озерова, — это сладкое. . . . Григорій Николаевичъ, чокнитесь съ вашей женою, а то она пить не хочетъ. Вы заказали что нибудь?

Григорій Николаевичъ оборачивается, смотритъ тупыми близорукими глазами на Вѣру Өедоровну и говоритъ: — «я ничего еще не заказалъ, Вѣра Өедоровна, я думалъ . ., готовый, не зналъ, что по картѣ. Выпей, Маша. Это ничего, натуральное, здѣшнее, не повредитъ».

— Ахъ, какой онъ у васъ, байбакъ, — простите Марья Васильевна, но, право же, онъ у васъ совсѣмъ тюфякъ. . . . Володечка, распорядитесь для всѣхъ насъ: кефаль вареную баклажаны подъ бешемелью и мороженое. Вы гдѣ обѣдаете?

— Во «Франціи», у себя.

— Ахъ, дружокъ, надо все попробовать. Ну, «Россію» я не рекомендую, тамъ очень долго не подаютъ: лакеевъ мало. Но отчего бы вамъ иногда не пойти въ городской садъ, или, если хотите, дешевый столъ — въ Московскую гостинницу, тамъ прекрасно кормятъ. Варвара Михайловна, вамъ цыпленка? Чтобы «Тюнечкѣ» кости были.

— Ахъ, и мнѣ тогда цыпленка, — говоритъ Марья Васильевна и ласково гладитъ «Тюньку» по головѣ.

— Есть, — на ходу кричитъ Володя и исчезаетъ въ толпѣ.

— Милый мальчикъ, — говоритъ съ легкимъ вздохомъ Вѣра Ѳедоровна, — я его еще вотъ этакимъ знала. И Саша славный молодой человѣкъ. Влюбленъ въ Варвару Михайловну безъ ума. . . .

— Такъ вы не видали Учанъ-Су, и не были на Ай-Петри? — подвигаясь къ Марьѣ Васильевнѣ говоритъ Перепелицынъ.

Марья Васильевна теперь такъ близко сидитъ отъ него, что чувствуетъ его дыханье. Онъ красивъ, но не въ ея вкусѣ. Онъ страшенъ. Темные глаза прикрыты длинными пушистыми рѣсницами и черныя брови изогнуты красивой дугой. Кто онъ такой? Богатъ, бѣденъ? Служитъ гдѣ нибудь или нѣтъ? Сѣрая шляпа красиво сидитъ на его головѣ. Манеры его изящны.

— Вы знаете, — говоритъ онъ, — вамъ нужно поѣхать на Ай-Петри ночью, чтобы захватить тамъ разсвѣтъ. Это картина безподобная. Удивительная картина. Жалко, вотъ мужъ не можетъ поѣхать. Хотя это такъ покойно. Тутъ чудныя коляски.

— Мой мужъ не выноситъ долгой ѣзды. И ночью онъ ни за что не поѣдетъ.

— А если вы его попросите?

— Я. . . . Зачѣмъ я буду просить его дѣлать то, что ему непріятно и вредно.

— Но, чтобы сдѣлать вамъ удовольствіе.

— Я могу отказать себѣ.

— Я бы лишилъ себя жизни скорѣе, чѣмъ въ чемъ либо вамъ отказать.

Марья Васильевна съ удивленіемъ смотритъ на Перепелицына. Что это такое? Дерзость? Ей никто никогда такъ не говорилъ. Не смѣлъ говорить. Перепелицынъ глядитъ на нее своими ясными черными глазами.

— Кушайте ваше вино. Мужъ позволилъ.

Марья Васильевна покорно беретъ рюмку, и пьетъ. Вино сладкое, но крѣпкое. Если много такого вина выпить, можно опьянѣть. А быть пьяной нехорошо. . . . стыдно. . . .

— Кушайте до дна. Вамъ жарко. Оно освѣжитъ — говоритъ Перепелицынъ.

Марья Васильевна пьетъ. Вино пріятное на вкусъ и должно быть хорошо. Вонъ какіе гербы нарисованы и надпись сдѣлана — «Императорскій Никитскій Садъ». . . . Вотъ и въ Никитскомъ Саду она не была. Правда Гриша байбакъ. Съ нимъ ничего не увидишь. А должно быть хорошо на Ай-Петри? Всѣ хвалятъ.

Лакей подаетъ большое блюдо съ рыбой и картофелемъ. Два красные рака уставились въ рыбу. Варвара Михайловна всѣмъ раскладываетъ куски.

Это здѣшняя рыба? — спрашиваетъ Марья Васильевна.

— Здѣшняя, морская, — говоритъ генералъ.

— Дайте мнѣ попробовать, — робко произноситъ Марья Васильевна и не знаетъ, хорошо-ли она сказала. Она смотритъ на мужа. Онъ держитъ обѣими руками у рта раковую шейку и громко высасываетъ ее, сокъ течетъ по его всклокоченной русой бородѣ, въ глазахъ видно удовольствіе.

— А все-таки, генералъ, — говоритъ онъ въ перерывахъ между посасываніемъ шейки — политика мира приведетъ Россію къ неслыханному могуществу, какого нельзя достигнуть никакими самыми успѣшными завоеваніями.

Володя даетъ Марьѣ Васильевнѣ рыбу и наливаетъ ей блѣдный Рислингъ въ большой бокалъ. Марья Васильевна смотритъ на Володю и улыбается ему. Онъ такой молодой, красивый. Такой же какъ она.... Точно братъ ея. Съ нимъ не страшно.

— A votre santé, — говоритъ, протягивая ей свою рюмку, Перепелицынъ.

Волна веселости находитъ на Марью Васильевну.

— A la votre, — говоритъ она и чокается. — Гриша, твое здоровье! — весело кричитъ она мужу.

Вино слабое, какъ вода.... Его не страшно пить. И рыба такая вкусная....

Григорій Николаевичъ машетъ ей руками, облитыми сокомъ отъ раковъ, и хочетъ что-то сказать, но ротъ у него полонъ рыбой, картофелемъ и онъ только одобрительно мычитъ. Смѣшной ея Гриша! Но какой добрый.

— Славная вы барыня, — говоритъ ей Перепелицынъ. — И мужъ такой умница у васъ!..

— О, вы не знаете его у меня, хочетъ гордо сказать Марья Васильевна, но вино попадаетъ не въ то горло и она закашливается.

— Клинъ клиномъ вышибай! — кричитъ Володя и наливаетъ еще вина. Марья Васильевна пьетъ.

Ей немного совѣстно, что она поперхнулась: была ли она интересна въ этотъ моментъ?... Но все-таки ей весело. Перепелицынъ не такъ страшенъ и въ немъ столько благородства!

Подаютъ цыплятъ. Но ей не хочется ѣсть — и «Тюнечка» получаетъ цѣлые куски. Она красиво ѣстъ и проситъ бѣленькой лапкой, царапая ею рукавъ. Марья Васильевна цѣлуетъ «Тюнечку» въ лобъ.

— Какъ я бы желалъ быть «Тюнечкой», — говоритъ Перепелицынъ.

— Почему? — наивно спрашиваетъ Марья Васильевна.

Вѣра Ѳедоровна хохочетъ и страстно цѣлуетъ зарумянившуюся Марью Васильевну.

— Потому, что вы сама прелесть и лучше всякой «Тюнечки». — восклицаетъ она...

Потому что ее всѣ ласкаютъ и любятъ, — говоритъ уклончиво Перепелицынъ.

Марья Васильевна молчитъ. Ей немного стыдно. Она украдкой смотритъ на мужа, но тотъ занятъ накладываніемъ себѣ баклажановъ и ничего не видитъ.

— Знаете что, — говоритъ Перепелицынъ. — Попросимъ вашего мужа, чтобы онъ отпустилъ васъ сегодня на Ай-Петри. Мы поѣдемъ большой компаніей, въ двухъ колясках.

— Чудная идея! кричитъ подъ ухомъ Вѣра Ѳедоровна. — Конечно, душечка, поѣдемъ. Не видѣть Ай-Петри: — не видѣть Крыма. Сашечка, распорядитесь экипажами. Monsieur Перепелицынъ — вы дадите ваши пледы. Къ вамъ по дорогѣ заѣхать. Григорій Николаевичъ, вы слышите, мы веземъ вашу жену смотрѣть восходъ солнца съ Ай-Петри. Вы слышите, Григорій Николаевичъ?

Григорій Николаевичъ разсѣянно смотритъ на Вѣру Ѳедоровну, потомъ на жену. Золотистые волосы ея растрепались, глаза сверкаютъ восторгомъ. Ей такъ хочется ѣхать; она такъ любитъ природу!

— Ну, поѣзжай, милуша, — говоритъ онъ, — только, смотри, не простудись. . . .

— Не безпокойтесь, — говоритъ Перепелицынъ и дерзко смотритъ на Григорія Николаевича, — мы доставимъ вамъ вашу жену въ полной цѣлости и сохранности. Я дамъ ей свои пледы.

— Благодарю васъ, — спокойно отвѣчаетъ Григорій Николаевичъ, — а мы съ вами, генералъ пойдемъ домой.

— Домой, домой, конечно. Спать! Куда намъ, старымъ людямъ, по горамъ скакать!

Марья Васильевна смотритъ благодарными блестящими глазами на мужа и подымаетъ бокалъ, съ темнымъ краснымъ — A la santé, de mon mari, — кричитъ она, и встаетъ. И какая она хорошенькая въ эту минуту! Всѣ ея девятнадцать лѣтъ рвутся изъ нея и просятъ счастья, любви, жизни. . . . Шляпка чуть съѣхала на бокъ, волосы растрепались, но такъ она еще лучше. Она «пьяненькая» и сознаетъ это, и весела и счастлива. . . . И всѣ ею любуются. Перепелицынъ блѣденъ отъ охватившей его безумной страсти, Володя юлитъ и даже влюбленный Саша пораженъ ея красотою, красотою весны. . . .

— A la votre! — отвѣчаетъ Григорій Николаевичъ, — и, смотри, не шали, не простудись и поскорѣй возвращайся. Онъ жметъ руки Вѣрѣ Ѳедоровнѣ, Варварѣ Михайловнѣ, Сашѣ, цѣлуетъ ея горячую руку, потомъ говоритъ Перепелицыну.

— Поберегите ее.

— Будьте благонадежны, — съ сухимъ корректнымъ поклономъ отвѣчаетъ тотъ и Григорій Николаевичъ уходитъ съ генераломъ.

II.

Лошади поданы. Двѣ тройки, запряженныя въ бѣлыя соломенныя коляски. Въ одну садятся: Перепелицынъ, Марья Васильевна, Вѣра Өедоровна и Володя, въ другую Варвара Михайловна и Саша съ «Тюнькой». Ночь чудная, удивительная. Даже не вѣрится, что въ горахъ будетъ холодно и будутъ нужны пледы. Полная луна глядитъ съ безоблачнаго неба, море искрится и млѣетъ подъ ея лучами, море спокойное и тихое. На молѣ и на набережной горятъ электрическіе фонари и толпа еще ходитъ вдоль домовъ. Тихо. Въ воздухѣ пахнетъ морской водой, кипарисами и лавромъ. Лошади побрякиваютъ бубенцами.

— Готовы? — спрашиваютъ спереди.

— Готовы, — отвѣчаетъ Перепелицынъ. Лошади трогаютъ. Маленькій сѣрый пристяжной со стриженной гривой и короткимъ хвостомъ косится большимъ красивымъ глазомъ и пускается мѣрной рысью. Марья Васильевна любуется на хорошенькую мордочку сѣраго и чувствуетъ, что она любитъ этого сѣраго, что въ ней все сильнѣе и сильнѣе говоритъ потребность любить, прижаться къ кому-нибудь, пригрѣться, отдать ему, ввѣрить ему и душу свою полную восторга и молодое, пышащее здоровьемъ и молодостью тѣло!... И первый разъ она жалѣетъ, что ея мужъ такой скучный.. такой идеальный мужъ

Дорога подымается выше, вьется мимо садовъ и виноградниковъ Ливадіи и входитъ въ лѣсъ. Вправо, у ногъ лежитъ Ялта. Ялта, горящая огнями, Ялта со стройными кипарисами, освѣщенными луной и съ моремъ, въ которомъ играютъ луна и звѣзды. Надъ Ялтой высятся горы. Эти горы съ посеребренными луной вершинами, съ темными лѣсами внизу таинственно прекрасны. Югъ дышетъ и нѣжитъ, югъ чаруетъ и шепчетъ слова любви. Думала ли она когда-нибудь попасть сюда, думала ли увидать когда либо эту чудную красоту природы, ласкающей и любящей другъ друга, знала-ли она, что есть эти ночи, когда земля и море отдаются мѣсяцу и мѣсяцъ ласкаетъ и холитъ ихъ въ молочныхъ лучахъ. Думала ли она, что воздухъ можетъ быть недвиженъ и тепелъ, что онъ весь можетъ быть пропитанъ ароматами травъ и деревьевъ?... Нѣтъ, она этого не знала! И потому она не знала любви. Это спокойное чувство, которое она испытывала, опираясь на руку Григорія Николаевича, она ошибочно называла любовью.... Любовью... Смѣшно дать имя того, чего не знаешь....

Дорога вилась выше. Крутые спуски поросли крымской сосной. Высокіе стволы поднимали гордо свои кроны, усѣянныя длинными мягкими иглами и простирали вѣтви далеко вокругъ. Холодно и жутко было въ ихъ чащѣ. Между ними буки и тополи, кусты ежевики, прицѣпившіеся къ каменнымъ откосамъ дороги, густая темная зелень плюща, обвившаго стволы

столѣтнихъ деревъ. Чуть отступитъ лѣсъ, сейчасъ видны скалы безобразныя, страшныя, величественныя, грозныя. Онѣ нависли надъ дорогой и готовы рухнуть на нее, онѣ поднялись отвѣсно далеко въ верхъ и только корявая изогнутая сосна смѣло лѣпится вдоль нихъ, обвивая ихъ сѣрымъ стволомъ.

Марья Васильевна застыла въ восторгѣ и поворачивала свою голову, переводя восхищенный взоръ съ одного вида на другой. Вверху надъ головой сверкалъ Ай-Петри. Тонкіе ажурные зубцы, посеребренные мѣсяцемъ лѣзли подъ самое небо. Небо синее, темное, сверкающее, будто живое, недвижное, висѣло надъ ними кроткое и спокойное.

Марья Васильевна не чувствовала, какъ крѣпко обвила ее чья то рука и горячо прижимала ея талью къ своей груди. Она сама довѣрчиво прижималась къ этой груди и пожатьями отвѣчала на пожатья чужой сильной, мужской руки.

Это былъ сонъ. На яву не можетъ быть такихъ красотъ, на яву не могутъ сверкать серебряныя горы и трепетать небо! И во снѣ ей снились эти черные лучистые глаза, и во снѣ грезились ей эти тихія слова любви, ласки, участья. . . .

При свѣтѣ догоравшей луны открылся пустынный хребетъ Яйлы. Холодный вѣтеръ дулъ порывами надъ желтой степью и крутилъ пыль на бѣлой дорогѣ. Кругомъ хаосъ. Сѣрые камни, обрывы, пропасти, округлые холмы и пики и

вдали буковая роща, чернымъ пятномъ взбѣгающая на площадку горы.

Варвара Михайловна объявила, что она и «Тюнька» прозябли и ни за что не пойдутъ карабкаться на горы.

— Помилуйте, туда цѣлыхъ три версты!

Она останется въ балаганѣ и будетъ пить чай, Вѣра Ѳедоровна объявила, что у нея болятъ ноги, и что она будетъ ожидать восхода у рѣшетки первой скалы.

— А мы!? Марья Васильевна! — протягивая Марьѣ Васильевнѣ обѣ руки, воскликнулъ Перепелицынъ.

— Пойдемъ! Непремѣнно пойдемъ наверхъ. Я хочу видѣть эти пики вблизи. А какой долженъ быть видъ оттуда! — отвѣчала, захлебываясь отъ восторга, Марья Васильевна.

— Смотрите, не упадите, — съ громкимъ дѣланнымъ хохотомъ закричала Варвара Михайловна.

— Со мной то! — обернувшись проговорилъ Перепелицынъ.

— Именно съ вами, — смѣясь сказала Варвара Михайловна.

Перепелицынъ не отвѣчалъ. — Вашу руку! — скомандовалъ онъ Марьѣ Васильевнѣ и они пошли.

Какъ это было страшно! Справа и слѣва лежали сѣрые громадные камни, весь путь былъ усѣянъ мелкими острыми камушками, подъ

ногами зіяли обрывы и пропасти. Какія то тѣни, казалось, бродили по крутымъ скатамъ и таинственный шопотъ слышался подъ навѣсомъ скалъ.

Они шли рука съ рукой, хрустя по мелкимъ камешкамъ, скользя и поддерживая другъ друга. Перепелицынъ говорилъ, и его слова дикія и страстныя, были въ полной гармоніи съ этимъ таинственнымъ нелюдимымъ пейзажемъ. Онъ говорилъ, что онъ первый разъ видитъ такую неиспорченную, чистую душу, что онъ не знаетъ, что съ нимъ такое, что онъ чувствуетъ, что теряетъ разсудокъ, что онъ готовъ на все. Онъ предлагалъ ей бѣжать съ нимъ на яхтѣ на югъ, туда, гдѣ вѣчное солнце блеститъ надъ водой, гдѣ небо пламенѣетъ отъ жгучихъ лучей.... Онъ страстнымъ баритономъ пропѣлъ ей «Миньону» Монюшки и вдругъ опустился передъ ней на колѣни и сталъ умолять, подарить ему на память объ этой чудной волшебной ночи одинъ поцѣлуй.

Ей было страшно и хорошо. Они находились теперь среди кустовъ бука, въ маленькой рощѣ, круто взбѣгавшей на верхъ, къ вершинѣ Ай-Петри.

Луна догорала. Блѣдныя тѣни бѣжали по небу. Шляпа съ широкими полями Перепелицына сползла на затылокъ и черные глаза его были устремлены съ мольбой. Пледъ плащемъ свисалъ съ его плеча и весь онъ, озаренный загорающейся зарей, на фонѣ громаднаго

дупла стараго, давно сломаннаго дуба, былъ прекрасенъ. . . .

Одинъ поцѣлуй!

Но это былъ долгій поцѣлуй, поцѣлуй кипучей страсти, поцѣлуй, который опьянилъ ее и поколебалъ почву подъ ея ногами. И она упала на протянутыя сильныя руки и она отвѣчала на его страстныя лобзанья, давала цѣловать свои руки, давала обнимать. . . . И эти поцѣлуи жгли ее и лишали силы, и она не могла сопротивляться. О! если бы это были только поцѣлуи! Если бы это были только объятія!? Она еще могла бы оправдаться. . . . . .

Міръ, казалось, перевернулся и измѣнился, когда, измученная страстными ласками, она выскользнула изъ его объятій и бросилась бѣжать вверхъ, по крутой тропинкѣ.

III.

Все пропало, все погибло! Она измѣнила. . . Она сдѣлала подлость. Весь міръ это знаетъ, и ей нѣтъ цѣли жить.

Самыя ужасныя мысли бѣжали и роились въ ея мозгу и ей было страшно самой себя. Въ опустѣвшей головѣ нестерпимо глупо звенѣлъ и переливался дурацкій мотивъ «чонгъ-кина, чонгъ-кина, чонгъ-чонгъ, кина-кина». . . .

Умереть, убиться, разбиться на этой чудной скалѣ, броситься внизъ въ бездну. И она взбѣжала съ нечеловѣческой энергіей на верхнюю покатую площадку и по тропинкѣ добѣжала къ самому краю скалы. . . .

И вдругъ застыла, уцѣпившись судорожно, руками за острые выступы камней. . .

Прямо передъ нею, какъ угроза неба, высился громадный сѣрый утесъ. Внизу этой громады, поднявшейся съ остраго хребта, еще лежала сырость ночи и бѣлая тучка дремала у его основанія. Но верхъ утеса отливалъ золотомъ и сверкалъ на блѣдномъ зеленовато-синемъ небѣ. Желтый шаръ солнца, громадный, чуть сдавленный выходилъ изъ далекаго бѣлаго моря, такого спокойнаго, чистаго и ровнаго. Словно чайки бѣлѣли паруса лодокъ, позлащенные первыми лучами. Солнце радостно озирало изъ воды землю и земля смѣялась ему въ отвѣтъ. Какъ чудная игрушка, или художественно сдѣланный рельефный планъ выдавался берегъ рѣзными прихотливыми очертаніями въ блѣдное сонное море. И вдругъ оно зазолотилось и заиграло перламутромъ, это чистое, глубокое, безбрежное море. И отразились въ немъ: скала «Дива» въ Симеизѣ, «Медвѣдь гора» Гурзуфа, мысъ Ай-Тодоръ, убѣжавшій въ море, со своей дачей игрушкой. Крошечные кипарисы торчали изъ зелени садовъ Ливадіи и Алупки, между ними бѣлѣли и краснѣли крыши домовъ и кровли дворцовъ. Бѣлой точкой далеко видна была крошечная Ялта и набѣгалъ на нее мохнатый лѣсистый Пендикюльскій хребетъ. Это была улыбка земли, улыбка утра, улыбка жизни, и съ ужасомъ отшатнулась молодая женщина отъ мрачнаго обрыва.

Солнце поднималось выше, легкій паръ стлался

за нимъ надъ моремъ и молодые и радостные лучи играли съ зеленью деревъ, виноградныхъ садовъ и съ синевой глубокаго моря.

И умирать въ этой природѣ!

Вѣтеръ стихъ. Первые лучи робко коснулись лица Марьи Васильевны. Оно еще пылало отъ пережитой страсти, стыда и возмущенія, но оно было покойно и счастливо.

Сзади нея, убитый и покойный, стоялъ Перепелицынъ и глаза его еще горѣли. И онъ былъ красивъ на фонѣ еще не освѣщеныхъ солнцемъ сѣрыхъ скалъ, мрачныхъ и дикихъ онъ, правда, былъ красивъ.

И она простила. Она примирилась! . . . Любовь бываетъ только разъ въ жизни. А это была любовь! . . .

IV.

Но къ обществу, ожидавшему ихъ у балагана она вернулась тихая и робкая. Они молчали и весь обратный путь. Ей было стыдно и страшно. Она боялась мужа. Она ему все скажетъ. Онъ умный, добрый, онъ пойметъ ее и проститъ. . . . Она заслужитъ это прощеніе вѣчной лаской, вѣчной покорностью и любовью. Это была ошибка. Она загладитъ ее. . . .

Съ этимъ чувствомъ она вошла въ номеръ, занятый мужемъ. Она вошла, не простившись съ Перепелицынымъ, рѣшившись во всемъ покаяться, все разсказать, излить свою душу въ страстной исповѣди. Она рѣшила признаться,

какъ страсть обуяла ее и, какъ этой страстью нагло воспользовались и, какъ она хотѣла отъ муки стыда покончить съ собою и броситься со скалы и, какъ Богъ удержалъ ее. Она рѣшила на колѣняхъ умолить своего мужа простить ей ея паденіе. . . .

Она тихо затворила за собой дверь и остановилась. Было восемь часовъ утра. Солнце золотило бѣлыя шторы оконъ и во всей комнатѣ былъ разлитъ свѣтъ утра, яснаго и солнечнаго. Въ номерѣ было душно и жарко, и воздухъ былъ утренній, тяжелый. Григорій Николаевичъ крѣпко спалъ сладкимъ утреннимъ сномъ. Его ротъ былъ широко раскрытъ и мощный храпъ вырывался изъ него, гдѣ изъ за темныхъ испорченныхъ зубовъ виднѣлся бѣлесоватый языкъ, покрытый налетомъ сна. Лицо вспотѣло и раскраснѣлось, потные, рѣдкіе волосы сбились въ кучу и обнажили мокрую просторную лысину. У постели аккуратно стояли его ботинки и висѣли сѣрые чулки съ красными полосами.

Она кинула взглядъ въ зеркало. Зеркало отразило ея свѣжую молодую фигуру, ея лицо, залитое румянцемъ стыда, голубые глаза, подернутые синевой усталости и страсти, ея свѣжія губы и перламутровые зубы и она поняла, что ему нельзя сказать, что онъ не пойметъ и не проститъ. Она рѣшила молчать. Молчать и никогда не говорить про это, похоронить этотъ случай, эту вспышку глубоко въ своемъ сердцѣ — и даже если бы весь міръ узналъ про ея измѣну — мужъ не узнаетъ никогда. Онъ не

узнаетъ ради своего спокойствія. Если онъ услышитъ, что кто либо говоритъ про его жену и спроситъ ее, — она будетъ клясться всѣмъ святымъ и онъ никогда, никогда не узнаетъ. . .

И кроткая, какъ всегда, она брезгливо прикоснулась своими свѣжими губами, хранившими слѣды поцѣлуевъ другого мужчины, къ его мокрому лбу, и, когда онъ, пожевавъ губами и помычавъ открылъ глаза, — она спросила его.

— Ты хорошо выспался, мой милый?

И онъ радостно улыбнулся ей въ глупомъ восторгѣ сознанія, что его любитъ и ему принадлежитъ женщина, прекрасная, какъ майское утро, и свѣжая, какъ утренняя роса. И чувство собственности разлилось радостью по его тѣлу, какъ будто можно владѣть женщиной, какъ владѣютъ картиной, какъ будто можно обладать любовью какъ обладаютъ процентной бумагой, время отъ времени отстригая отъ нея купоны.

И, въ глупой нѣжности, онъ покрылъ ее поцѣлуями, заботливо спрашивая, хорошо ли она провела ночь.

И она сказала, отвѣчая на его поцѣлуи.

— О, да, мой милый, чудно хорошо. Я никогда, никогда не забуду Ай-Петри. . . .

И это было такъ просто!!!

Ялта
1900 г.

Лунною ночью.

Разсказъ нервнаго человѣка.

I.

Я шелъ одинъ, безъ проводника, по каменистой дорожкѣ, вьющейся между пышнымъ южнымъ кустарникомъ по склону хребта Яйлы, къ верхней Массандрѣ. Былъ конецъ сентября, солнце пекло невыносимо. Потъ лилъ съ меня градомъ, но я бодро подавался впередъ, полный желанія засвѣтло добраться до Массандровскихъ пещеръ. Прихотливо извиваясь дорожка постепенно подымалась выше и выше и, наконецъ, подошла къ громадной террасѣ, на которой, рисуясь строгими линіями, высился новый, еще не отдѣланный Массандровскій дворецъ. Дальше я не зналъ дороги; рабочіе тоже не умѣли ее показать и я сталъ наугадъ подыматься по узкой тропинкѣ, еле замѣтной между скалъ. Впереди меня и наперерѣзъ мнѣ, согнувшись подъ тяжестью хвороста, шла старая, старая старуха. Среди мощной Крымской природы,

между раскидистыхъ дубовъ и каштановъ, шиповника и миртъ, подлѣ развалившагося домика она казалась явленіемъ изъ сказки. Бабой-Ягой, — добрымъ и злымъ геніемъ русской народной фантазіи. Я обратился къ ней съ вопросомъ, какъ пройти къ пещерамъ.

— Трудно, батюшка, одному то пройдти, — ласково улыбаясь, чистымъ русскимъ старушечьимъ языкомъ отвѣчала мнѣ Баба-Яга, — нѣшто дѣтей тутъ нѣтъ? Тутъ дѣти водятъ.

— Нѣтъ, бабушка, дѣти мнѣ не попадались, — отвѣчалъ я.

— И то, значитъ, нѣтъ. Да постой маленько, я хворостъ сложу, да и провожу тебя, тутъ недалече.

Я присѣлъ на камнѣ, старуха снесла вязанку въ избушку и черезъ минуту вернулась ко мнѣ.

— Пойдемъ, батюшка баринъ.

Мы пошли. Она впереди, я сзади, а гдѣ позволяла дорога, рядомъ. Старуха оказалась словоохотливой и всю дорогу разсказывала мнѣ преданія Крыма и свои воспоминанія о разныхъ великихъ людяхъ, посѣщавшихъ Крымъ. Мы спустились нѣсколько съ горы, потомъ круто свернули направо, въ гору, и по каменнымъ неотдѣланнымъ ступенямъ стали подниматься на верхъ. Какой переворотъ и когда набросалъ такъ смѣло саженные камни, выворотилъ изъ земли цѣлыя скалы и, бросивъ ихъ внизъ, накрылъ ими другія скалы. Одна скала вклинилась между двухъ камней и образовала темный

входъ въ пещеру, острымъ угломъ свѣшиваясь внизъ. Войдешь въ таинственный лабиринтъ камней, въ темные своды, обернешься, и радостный пейзажъ Крымскихъ горъ улыбается, озаренный солнечными лучами. Всѣ камни поросли густой блестящей зеленью. Мелкіе листочки мирты смѣло взбѣжали на громадную скалу, между ними желтѣлъ шиповникъ и виноградъ цѣплялся за камни. Кругомъ зелень, покрывающая высокія горы, а за горами голубое сверкающее небо. . .

Очарованный стоялъ я у выхода изъ пещеры и смотрѣлъ на бѣшеную игру природы, на громадный обвалъ скалъ, построившій эти темные переходы и мрачную пещеру. Старуха помѣстилась у моихъ ногъ и, сѣвъ на ступеняхъ узкаго входа, продолжала мнѣ свои разсказы.

— А вотъ на этомъ мѣстѣ, — пѣвучимъ голосомъ говорила она, — я, не сходя, девять недѣль просидѣла. Больную одну стерегла. И пещеру то тогда не узнать было. Вся то она занавѣшена была коврами, да тканями, пуховики мягкіе положены, а кругомъ лампы засвѣчены. И лежала она такая тихая, спокойная и такая красавица, просто, ангелъ небесный. Лежитъ и не спитъ, сердечная. . . «Бабушка, — скажетъ — ты здѣсь?» — А я говорю — здѣсь я, матушка барыня, куда мнѣ дѣваться, здѣсь я. — «Засвѣти, бабушка, огонь мнѣ пожарче». — Я пойду и подкручу — свѣтло, свѣтло станетъ въ пещерѣ, а она закроетъ глазки и уснетъ, а я то сейчасъ лампы снова и приспущу — пускай

спитъ, сердешная... И девять недѣль такъ то я подлѣ нея на камушкѣ просидѣла. Мужъ ейный, мать тутъ — подъ горой на дачѣ жили, а меня къ ней приставили.

— Кто же она такая была, бабушка? — живо заинтересованный необычностью разсказа спросилъ я.

— А порченая. Нечистый духъ, значитъ, вселился въ нее и безпокоилъ ее.

— Такъ зачѣмъ же ее въ пещеру посадили?

— Божіе соизволеніе на то, батюшка баринъ, было. Приснился матери ейной, ночью, во снѣ старикъ и говоритъ — вези дочку въ Крымъ, а въ городъ Ялту, тамъ въ пещерѣ схорони ее. Вотъ и отписали они священнику, отцу Гавріилу, про то. Стали сейчасъ искать пещеры и вотъ нашли, послали отвѣтъ заказной, чтобы злые люди не похитили и не напортили чего. А черезъ четыре недѣли, глядимъ, и сами изъ Москвы пріѣхали и ее привезли — молодая красавица такая... Вотъ и устроили ее. Только не долго, сердешная, и томилась здѣсь. Девять недѣль всего. Подъ конецъ священникъ со мной тутъ былъ, все ей изъ божественнаго читалъ. Устанетъ, уйдетъ, тутъ же кресло у него было, и приляжетъ, а она: — «бабушка! ты здѣсь?» — «Здѣсь я», говорю, «куда мнѣ матушка барыня, дѣваться то — здѣсь»... — «А батюшка здѣсь?» — «Здѣсь и батюшка», — говорю и позову его: — «батюшка, встаньте-ка». Встанетъ батюшка и подойдетъ къ ней. И уже

не ѣла, сердешная, ничего послѣдніе дни, такъ лежала. Батюшка ей святыхъ тайнъ сквозь губы пропуститъ: — только и всего. И такая прекрасная она лежала, такая красивая, чисто ангелъ небесный!

— Ну и что же, поправилась она, бабушка?

— Какое поправилась, батюшка баринъ! — Девять недѣль, какъ прошло, а ей все не легче. Вотъ подъ вечеръ и зоветъ она меня. — «Бабушка!» — Я и подошла.

— «А батюшка, говоритъ, здѣсь?» — Подошелъ и батюшка. Тутъ она и мужа своего позвала. — »Іона Васильевичъ здѣсь?..» А онъ къ себѣ уже внизъ прошелъ. Дѣло то къ ночи было. — «Придетъ онъ сейчасъ, я позову его», — говорю я... — А она тутъ такъ содрогнулась вся — и потомъ личико ангельское такое стало... «Іона Васильевичъ!» — позвала его... и преставилась...

Старуха кончила. Темные своды пещеры низко нависли надо мной и таинственно зіяла тамъ чернота. Солнце спускалось за горы и зелень, еще такъ недавно яркая и веселая висѣла уныло внизъ... Становилось жутко въ этой нѣмой тишинѣ между величественныхъ скалъ, среди горныхъ утесовъ, громадныхъ деревьевъ и кустовъ.

Какая тайна скрывалась въ этомъ простомъ разсказѣ? Какой ужасъ чего то непонятнаго, сверхъестественнаго, необычайнаго заставилъ скрыть больную въ этомъ дикомъ и уединенномъ

мѣстѣ, въ страшной пещерѣ со старухой у ногъ ея. Какую картину волшебной сказки должна была изображать красавица, спящая на пуховикахъ между безобразныхъ скалъ и камней, и старуха съ клюкою, сидящая у ея ногъ на узкихъ каменныхъ ступеняхъ корридора, сложеннаго изъ громадныхъ глыбъ?!.

Я простился со старухой и затемно возвращался въ Ялту... И тайна, похороненная среди скалъ Массандровской пещеры, мнѣ не давала покоя.

II.

Бываютъ чувства, которыя не подчиняются никакому анализу, бываютъ боли, которыя еще неизслѣдованы медициной и передъ которыми безсильны самыя сильныя лекарства. Иногда среди глубокаго сна вы вдругъ просыпаетесь словно отъ толчка и чувствуете, что больше ни за что не заснете. Томительная тишина царитъ кругомъ. Тишина могилы. Такая тишина, что, кажется, слышишь, какъ идетъ время. Все нормально кругомъ и комната, въ которой вы спите, такъ логично проста, какъ и всякая другая комната, но червь мысли возится въ вашемъ мозгу и подыскиваетъ ужасы призраковъ, населяя ими углы.

Такъ было и со мною, когда я вернулся въ семь часовъ вечера, не чуя подъ собою ногъ отъ усталости послѣ безконечно длинной и

утомительной прогулки по горамъ съ ранняго утра. Въ девять часовъ я бросился въ постель и вотъ проснулся съ сознаніемъ, что ни за что не засну до утра. Я взглянулъ на часы, зажегъ свѣчу. Было одиннадцать часовъ! Цѣлыхъ шесть часовъ томительнаго ожиданія, шесть часовъ лежанія на постели и страннаго безпричиннаго страха. . .

Я пробовалъ закрыть глаза: луна вливала безпокойные таинственные лучи сквозь бѣлую занавѣсь и мѣшала думать. Словно съ мертвеннымъ свѣтомъ ея являлись отжившія тѣни прошлаго и бродили по комнатѣ, холодя своимъ присутствіемъ предметы, населяя душу мучительнымъ ужасомъ.

Я пробовалъ читать: — не читалось.

Безпокойство и ожиданіе чего то росли. Я открылъ окно и засмотрѣлся на блѣдное покойное море, облитое луннымъ свѣтомъ, серебристое и чудное. И море спало подъ этимъ свѣтомъ, подергиваясь нервной дрожью, и лунные лучи и ему, какъ и мнѣ, не давали покоя. Шхуны и бриги дремали на рейдѣ. Луна серебрила ихъ ванты и реи, и призраки ночи цѣплялись за сѣть такелажа, висѣли на носу и на кормѣ, серебристые, мутные, неопредѣленные. . . И на бѣлую часовню св. Николая, что стоитъ у мола, и на молъ, и на церковь на горѣ возлѣ кладбища, на далекіе кипарисы Массандры, на скалы и утесы горъ лился лунный свѣтъ, какъ что то живое, одухотворенное, и камни оживали

и, если не шевелились, то думали подъ мягкимъ свѣтомъ луны.

А мое безпокойство росло. Мой мозгъ былъ парализованъ ужасными мыслями. Камни думали!! Кипарисы грезили, весь міръ неодушевленный, вѣчный міръ, который не знаетъ смерти и тлѣна, думалъ! О, его думы, его мысли должны быть ужасны. Ихъ не тѣснитъ суетная забота жизни, забота о ѣдѣ, о снѣ, о теплѣ. Что можетъ думать камень? Если онъ можетъ мыслить и вспоминать — какіе громадные періоды времени захватитъ его память! И что я передъ нимъ? Кожаный мѣшокъ съ костями и кровью, добыча червей, ничтожество, слизень, ползущій по скалѣ. И чѣмъ больше я думалъ, тѣмъ безпокойнѣе становилось на душѣ, нестерпимѣе блескъ моря подъ луной и таинственнѣе горныя дали. . .

Нервы шалили. Доктора приписываютъ это морскимъ купаньямъ и климату.

Доктора! Ничтожные люди, корчащіе изъ себя знатоковъ! Развѣ проникли они въ эту тайну человѣческой души, познали, что такое сонъ и что смерть и сумѣли ли они отдѣлить душу отъ ея покрововъ и разобрать ея болѣзни. . . Нервы! Нѣтъ, тутъ есть что-то большее, чѣмъ нервы, тутъ есть какое-то общеніе съ міромъ, недоступнымъ пониманію.

Я сидѣлъ у открытаго окна и впивалъ въ себя лунный свѣтъ и чувствовалъ, что онъ опьяняетъ меня, мутитъ мой разсудокъ, чувствовалъ, что

я не выдержу далѣе, потому что безпокойство мое росло.

Я человѣкъ разсудка. Я сангвиникъ, я люблю жизнь, люблю сытный обѣдъ, хорошее вино, милую женщину, покойный сонъ и я врагъ призраковъ, врагъ фантазіи.

Я захотѣлъ людей. Мнѣ они стали нужны. Нуженъ сталъ видъ этой суеты людской, бѣгающіе лакеи, винтъ или безикъ на верандѣ курзала, Петръ Семеновичъ, Марья Ивановна, Надежда Семеновна... Мнѣ нужны стали разговоры о томъ, какая была вода сегодня, до котораго часа вчера играли, какъ подаютъ въ «Россіи» и служатъ въ «Марино», словомъ, людская суета мнѣ была необходима, чтобы успокоить мои глупые нервы и я наскоро одѣлся и вышелъ въ городской садъ...

О, если бы это были только нервы!

Когда, ступая по гравію дорожекъ между кипарисовъ и миртъ, я приближался къ ресторанной бесѣдкѣ — я былъ спокоенъ. Что въ самомъ дѣлѣ волноваться? Электричество соперничало съ луной, Надежда Семеновна сидѣла съ бѣлой «Тюнькой» у ногъ, и играла съ генераломъ и Головой въ карты. Слышались обычные «пасъ»,—«двѣ пики» — «безъ козырей» —словомъ, загробный міръ, населившій было мою комнату и приведшій духъ мой въ смятеніе — улетучился почти совершенно.

Приходу моему не были рады. Я мѣшалъ игрѣ и милая Надежда Семеновна, всегда

очаровательно любезная, предложила мнѣ познакомиться съ молоденькой дамой, всего три дня пріѣхавшей въ Ялту. «Курсовое знакомство», подумалъ я. А хотя бы знакомство съ самимъ дьяволомъ — не все ли равно!

— Вотъ, позвольте представить — Петръ Дмитріевичъ.

— Маргарита Войцеховна.

Я поднялъ глаза. Передо мною было блѣдное лицо, узкіе, миндальные, немного косые глаза, прикрытые золотымъ пенснэ, рыжіе волосы, сбѣгающіе на лобъ и на уши изъ подъ шляпки съ большими сѣрыми страусовыми перьями, идущими впередъ и внизъ, маленькій острый носъ, какъ и губы, опущенный внизъ. Что за лицо! Оно чаровало своей молодостью и оно отталкивало своимъ необычнымъ страннымъ видомъ. Длинные косые глаза смотрѣли изъ за стеколъ со странной насмѣшкой; она протянула мнѣ руку, усѣянную кольцами, и рука ея, холодная и скользкая, какъ рука мертвеца, скользнула въ моей рукѣ и тяжело упала на ея платье.

И я почувствовалъ, что безпокойство мое снова росло. Я заговорилъ. Быстро, глупо, о погодѣ, о красотахъ Ялты, я предложилъ ей ужинать, закидалъ ее вопросами, словомъ, старался потопить въ себѣ болтовней безпокойство. Но оно не проходило. . .

Нервы! Глупые нервы шалили.

— Вы говорите о красотахъ Ялты, — наконецъ, проговорила она, тихо и медленно отчеканивая каждое слово, и ея голосъ звучалъ, какъ струны

арфы звучатъ издали. — Хотите посмотрѣть настоящую истинную красоту Ялты? Поѣдемте сейчасъ верхомъ въ горы.

Я былъ въ восторгѣ. Дуракъ! я былъ въ восторгѣ отъ этого дьявольскаго предложенія. Я не понималъ, что вся сила луны теперь въ горахъ, я не думалъ, что каждый камень, каждый утесъ размягчился подъ серебристыми струями лучей и мыслитъ и грезитъ — и ихъ мысли — ужасъ, и ихъ грезы-призраки!

И безпокойство мое росло. А я, глупый, думалъ утѣшить его верховой ѣздой. . ,

Мы послали лакея за лошадьми и за полночь помчались въ горы. Маргарита Войцеховна ѣхала впереди. Она шла просторной иноходью на вороной лошади. Она не одѣвала ни амазонку, ни цилиндръ, но ѣхала, какъ была, въ шляпѣ съ сѣрыми перьями, въ своемъ сѣромъ просторномъ платьѣ, расшитомъ серебристыми лиліями. Я ѣхалъ рядомъ, едва поспѣвая за нею: сзади скакалъ проводникъ.

Мы миновали набережную, старый городъ и понеслись по тропинкѣ подъ обрывомъ. Вправо, какъ раскаленное серебро, сверкало безбрежное тихое море, слѣва были утесы, поросшіе кустарникомъ. Вотъ мелькнули виноградники и вотъ мы въ Массандрѣ.

Маргарита остановила свою лошадь и спрыгнула съ сѣдла. Проводникъ подхватилъ ея лошадь. Я послѣдовалъ ея примѣру. Лицо ея послѣ быстрой ѣзды не раскраснѣлось, но стало

напротивъ еще болѣе блѣднымъ. Лунный свѣтъ упадалъ на стекла ея пенснэ, и изъ-за него странные, чужіе смотрѣли на меня глаза. И словно призракъ смотрѣлъ на меня изъ подъ сѣрой шляпки и кивая звалъ и манилъ меня. Куда? наверхъ въ пещеру!..

И я пошелъ. Я зналъ, что тамъ меня ждетъ ужасъ, что въ этихъ скалахъ ночью нѣтъ ни одного живого существа, что на нагроможденныхъ разгульной дикой природой камняхъ сосредоточена теперь вѣковая дума минерала... Что тамъ при помощи лучей происходитъ обмѣнъ воспоминаній между камнями луны и камнями земли. Какихъ воспоминаній!!. Какихъ переворотовъ они были свидѣтелями и что они видѣли! Имъ смѣшна наша исторія козявокъ и наше лѣтосчисленіе, ограниченное шестью тысячами лѣтъ!!.

И какъ ни росло мое безпокойство, я пошелъ за этой женщиной...

И мы вошли въ пещеру.

Она сѣла въ глубинѣ ея и сѣрые глаза ея въ какомъ-то неземномъ восторгѣ устремились въ разсѣлину. Какая феерія! Какой декораторъ дастъ вамъ это впечатлѣніе горныхъ массъ, нагроможденныхъ одна на другую и посеребренныхъ луною. Зелень мирты, какъ черное серебро, взбѣгала на верхъ, а оттуда словно тѣнь свѣшивалась озаренная луною сосна. Трава была неподвижна, и камни раскиданные вокругъ были торжественно нѣмы.

— А! — воскликнула Маргарита, — вы видите, вы чувствуете это холодное прикосновеніе ночи. Вы понимаете смыслъ бытія. Развѣ ваши мысли не сѣрыя теперь, а душа не полна уксуса жизни... Ха-ха! Я понимаю прелесть въ ужасѣ... Вы мужчина, вы трясетесь... Развѣ не ужасъ эта тишина! Не ужасъ эта луна! Эти безмолвные нѣмые камни, которыхъ смерть не смѣетъ тронуть... Развѣ не ужасъ этотъ плющъ, прилипшій къ мертвой скалѣ и не смѣющій отъ нея отстать?.. Вы мужчина, вы боитесь! А я! Я умираю отъ ужаса и... наслаждаюсь.

Ея лицо было невидно совсѣмъ и она говорила тихимъ голосомъ, волнуемымъ страстью, голосомъ едва слышнымъ... И вдругъ она насторожилась вся и вцѣпилась въ мой локоть съ неестественной силой... Я оглянулся. Пенснэ спало съ ея тонкаго остраго носа и ея косые узкіе глаза смотрѣли на меня съ такимъ ужасомъ, что морозъ сковалъ мои члены.

— Ты слышишь!.. Ты видишь... Ахъ, какая она красавица! И какъ она блѣдна! Она умираетъ! Какія лампы, какіе ковры... Боже, какая страшная старуха сидитъ тамъ на ступеняхъ... Ты, ты видишь!.. Это призраки, или живые?!. Смотри, она приподнимается, какой тонкій батистъ, какое кружево на ея безсильной груди!.. Какіе глаза... Ты видишь: ея губы открыты, кровь на нихъ! Она зоветъ!..

Я ничего не видѣлъ... Но я!.. О, да будетъ проклятъ тотъ день, когда я родился! Я

слышалъ этотъ просящій, умоляющій голосъ, этотъ звукъ призыва, страстный и робкій...

«Іона Васильевичъ!» долетѣло до моего уха изъ глубины пещеры.

— Іона Васильевичъ! — отдалось эхомъ у выхода, отчетливое, какъ день, и робкое, какъ ночь... Маргарита безъ чувствъ лежала у меня на колѣняхъ. Камни, залитые луною, молчали торжественно, а я, невѣрующій, не признающій души, я слышалъ ушами, я чувствовалъ каждымъ нервомъ моего существованія этотъ призывъ больной тоскующей души. Онъ проникъ до самаго дна моего сердца, онъ отозвался въ головѣ моей и поднялъ дыбомъ мои волосы. Что можетъ быть ужаснѣе не понимать того, что происходитъ, что можетъ быть томительнѣе, ждать чего то ужаснаго, и не знать, когда оно придетъ!

Маргарита, лежащая у меня на колѣняхъ, давила меня неподвижнымъ, словно мертвымъ, тѣломъ. А я не могъ крикнуть, не могъ поднять руки, не могъ двинуться и лишь смотрѣлъ, не мигая, на острый уголъ громаднаго камня, спускающагося внизъ.

Ночь убывала постепенно и съ нею убывалъ мой ужасъ...

И только зазолотились вершины горъ, Маргарита вздохнула и приподнялась. Я не узналъ ее. Зеленая, съ потухшими измученными глазами съ ужасомъ, навсегда застывшимъ въ косыхъ глазахъ, она судорожно вздрагивала и силилась улыбнуться. И съ первыми лучами радостнаго

солнца, на ступеняхъ пещеры показалась старуха...

Она удивилась, увидѣвъ насъ. Меня она узнала.

— И ты тутъ, батюшка баринъ, — съ легкой укоризной проговорила она. — А я вотъ каждое утречко хожу помолиться за рабу Божію Александру... Святое это мѣсто то, батюшка баринъ, Божіе мѣсто родные!..

Мы встали и пошли.

Кругомъ смѣялась веселая природа. Жаворонки и перепелки носились въ вѣтвяхъ каштановъ и буковъ, море синѣло подъ первыми лучами солнца, и парусъ, золотой отъ млѣющаго восхода — стоялъ недвижный на его просторѣ.

Но мнѣ было гадко на душѣ, мнѣ было жутко и безпокойно...

Проводникъ насъ ждалъ на дорогѣ и подалъ намъ лошадей, храня слишкомъ двусмысленное молчаніе...

III.

Что досказать вамъ въ моей повѣсти? Маргарита исчезла изъ Ялты. Я вернулся больной съ разстроенными нервами домой. Доктора говорятъ: — мнѣ повредили морскія купанья. Соль и фосфоръ черезъ кожу раздражили нервы и явилось переутомленіе... Мнѣ прописали мышьякъ... Но я, я сангвиникъ и невѣрующій когда то человѣкъ, я боюсь луны и въ лунныя ночи брожу по улицамъ ища толпы, ища людей

и шума. Въ Крымъ я не поѣду ни за что. У меня на столѣ лежитъ черная книжечка съ надписью «за упокой» и тамъ первое имя — «раба Александра»...

Я не поправлюсь никогда. Я это знаю... Мои нервы, мое другое «я», спали... Ихъ разбудили призывомъ сверху изъ иного міра... Если я останусь одинъ въ лунную ночь, я слышу страстный, томящій призывъ «Іона Васильевичъ» — а по всему тѣлу моему бѣгутъ мурашки и я начинаю думать о чемъ то великомъ, безсмертномъ, неизвѣданномъ, о чемъ думать и знать могутъ только камни. И въ эти часы я боюсь громадныхъ камней, залитыхъ луной, я боюсь ихъ молчаливаго созерцанія и обдумыванія!..

А въ обществѣ мнѣ подобныхъ мѣшковъ изъ кожи съ кровью и костями — я слыву за нервнаго человѣка... Пусть такъ — нервы... Но есть что-то больше чѣмъ нервы... И это что то — ужасно...

Ялта.
1900 г.

Трупъ.

Докторъ кончилъ играть, всталъ изъ-за стола и, стоя, мѣлкомъ подсчиталъ свой проигрышъ. «Вотъ», сказалъ онъ, обращаясь ко мнѣ, — «вы говорите, что сверхъестественнаго на свѣтѣ нѣтъ ничего, я вамъ разскажу одинъ фактъ, который можетъ быть убѣдитъ васъ въ противномъ». Онъ взялъ меня подъ руку, и мы пошли съ нимъ по аллеѣ, направляясь къ выходу изъ сада на набережную. — «Пойдемте ко мнѣ: у меня это будетъ сдѣлать удобнѣе». Мы вышли на Ялтинскую набережную, прошли до Пушкинскаго бульвара и по нему дошли до уединенной дачи доктора, стоявшей за плотной стѣной кипарисовъ. Въ центрѣ сада, весь заросшій кустами мирты, туйи, шиповника, обвитый виноградомъ и плющемъ, совсѣмъ потонувшій въ зелени, тихій и нелюдимый, стоялъ маленькій домикъ.

— Вотъ въ этомъ домикѣ, сказалъ мнѣ докторъ, на прошлой недѣлѣ умеръ одинъ нервный больной. Онъ оставилъ послѣ себя записки.

Докторъ передалъ мнѣ маленькую тетрадку.

Вотъ, что въ ней было написано:

«Море, чудное голубое море выбросило на берегъ трупъ человѣка. Оно носило его нѣсколько дней въ своихъ нѣдрахъ и, наконецъ, прибило къ берегу. Трупъ замѣтили, вытащили

и положили на прибрежныхъ камняхъ. Лицо его вздулось и почернѣло, восковыя, почти прозрачныя руки безпомощно лежали на груди, черныя одежды обвисли на худощавомъ тѣлѣ.. И онъ лежалъ такъ на камняхъ, брошенный, никому не нужный, лишній, обуза для полиціи и слѣдственной власти. Собралась толпа народа. Былъ праздникъ, и толпа была нарядная, въ пестрыхъ одеждахъ, сверкающая золотомъ расшитыхъ куртокъ татаръ. Мальчишки нагибались надъ трупомъ и дерзко трогали его холодныя руки. Онъ явился некстати, явился не во время, въ праздничный день, когда въ городѣ ожидалась иллюминація. Пришла полиція, послали за столяромъ, чтобы сколотить послѣднее жилище скитальцу. Явился столяръ, посмотрѣлъ, потрогалъ зачѣмъ-то трупъ, распростертый на мелкихъ прибрежныхъ камняхъ, почесалъ затылокъ и ушелъ. Было жарко и душно на камняхъ, раскаленныхъ полуденнымъ солнцемъ, и ужасный, темный трупъ разлагался. Въ окнахъ магазиновъ горѣли гербы и вензеля, два оркестра музыки играли вальсы и отрывки изъ оперъ и опереттъ, съ пристаней пускали фейерверкъ. И на темномъ небѣ, на фонѣ высокихъ горъ взлетали ракеты и римскія свѣчи, и онѣ съ трескомъ взрывались и падали въ неподвижное море букетомъ разноцвѣтныхъ огней. Шумъ, говоръ, звуки выстрѣловъ и музыки, топотъ коней, возгласы, рукоплесканія и крики стояли на набережной, а море было тихо.

Я бродилъ въ этой толпѣ, бродилъ ночью,

глядя на покрытыя потомъ лица, съ глазами горящими восторгомъ и оживленіемъ.

Я прошелъ вдоль всей набережной, протолкался сквозь холодную праздную толпу, и вышелъ на конецъ ея, туда, гдѣ у гранитной пристани толпились черныя шхуны и бриги. Море, освѣщенное луною, тихо плескало о камни. Лодки, вытащенныя на берегъ, бросали таинственныя тѣни и безобразнымъ пятномъ чернѣлъ на свѣтлой галькѣ темный силуэтъ страшнаго трупа.

Это былъ человѣкъ! Пять дней тому назадъ — онъ жилъ. Его глаза видѣли, мозгъ его воспринималъ впечатлѣнія, а члены его слушались. А теперь онъ лежитъ распухшій, съ чернымъ раздутымъ лицомъ и бѣлыми руками. И не въ силахъ двинуться съ мѣста, не можетъ разсказать про себя, что онъ теперь и кто. Вотъ человѣкъ — образъ и подобіе Божіе. Гдѣ твоя красота, твое ухарство, твоя сила, твои работы?

Луна бросала прямо въ лицо серебристые лучи, играла золотыми блестками въ водѣ и кидала странную тѣнь отъ рукъ, отъ носа и отъ глазницъ съ глубоко провалившимися глазами. И я чувствовалъ, что меня влечетъ къ этому трупу, тянетъ смотрѣть на него, и я не въ силахъ былъ ни уйти, ни отвернуться.

Трупъ разлагался и издавалъ ужасный запахъ мертвеца. А я сидѣлъ тутъ, дышалъ этимъ зараженнымъ воздухомъ и чувствовалъ, что я гипнотизирую трупъ, а трупъ гипнотизируетъ меня.

Ужасно было то, что я находился подъ вліяніемъ

той силы, которая дана людямъ и которой люди не знаютъ.

Это была не галлюцинація, а дѣйствительность и это то и было ужасно.

Я видѣлъ толпу, бродящую по набережной, видѣлъ огни иллюминаціи, искры фейерверковъ и не въ силахъ былъ покинуть трупъ, лежащій на отмели, и присоединиться къ толпѣ.

Я все слабѣлъ. Я медленно умиралъ. Умиралъ сознательно, отдавая свою жизнь гадкому, разлагающемуся трупу, а онъ оживалъ. При мертвенномъ свѣтѣ луны я видѣлъ, какъ колыхнулась одежда на его груди и грудь содрогнулась дыханьемъ и зловоніе разложившагося трупа, долетѣло до меня съ этимъ вздохомъ мертвеца. Вслѣдъ за первымъ вздохомъ послѣдовалъ второй, третій и грудь задышала тяжело и неровно, какъ дышетъ неизлечимо, смертельно больной. И съ каждымъ вздохомъ было слышно, какъ клокотало въ груди все испортившееся, сгнившее, обратившееся въ вонючую матерію, что наполняло его легкія. Мертвецъ оживалъ. Я передалъ ему свою силу, это мой духъ, или частица моего духа перешла въ него. Моя душа оживила его, и я почувствовалъ весь ужасъ быть заключеннымъ въ гніющемъ организмѣ. Это не было сномъ, это было самою очевидною дѣйствительностью. Если можно усыпить человѣка и потомъ заставить его, соннаго, то есть какъ бы умершаго, двигаться и совершать поступки, то вѣдь значитъ можно тоже сдѣлать и не съ усыпленнымъ, а съ мертвымъ. . . . Я стоялъ

противъ воли у этого открытія и съ ужасомъ наблюдалъ, что страшный черный трупъ оживалъ. Его дыханіе, рѣдкое, удушливое и свистящее, вдругъ потряслось кашлемъ, и волна темной сукровицы хлынула изъ его горла. Бѣлыя руки его разжались и одна поднялась ко рту и къ груди, какъ это сдѣлалъ бы и живой человѣкъ. Мой трупъ двигался, ибо это я двигался въ немъ, часть моей души вернула ему жизнь и заставила заколебаться грудь и забиться сердце. И потомъ онъ согнулся и сѣлъ. Онъ сидѣлъ передо мною, озаренный луною, темный, опухшій, со всклоченными черными короткими волосами. Ужасенъ былъ видъ его. Мертвецъ сидѣлъ противъ меня, силился открыть глаза, мускулы дергались на его лицѣ, и кожа, уже подгнившая, лопалась и черныя трещины образовались на ней. Медленно, съ усиліемъ, открылся одинъ глазъ и сейчасъ же снова закрылся и долго еще дрожало его вѣко.

Глаза открылись. Ужасъ свѣтился въ нихъ и страданіе, которому нѣтъ описанія. Я далъ мозгамъ этого человѣка, мирно покоившимся въ смертномъ снѣ, пробужденіе, и я далъ имъ почувствовать, что они умерли, что они гніютъ — и это сознаніе было всего ужаснѣе. Такое страданіе, такое неописуемое смятеніе было въ этомъ ожившемъ взорѣ, какого я никогда не видалъ и не могъ представить себѣ, что возможно такое страданіе. Мы смотрѣли теперь другъ другу въ глаза и вопрошали другъ друга. Мертвецъ опустилъ свои руки и уперся ими въ

гладкую гальку прибрежья, какъ бы желая подняться и встать, и ужасно было это усиліе мертвыхъ рукъ. Кровь побѣжала въ нихъ, бурая гнилая кровь, восковыя руки почернѣли и стали такими же какимъ было лицо. . . . Мучительная судорога подернула губы, ротъ медленно открылся и тамъ виденъ былъ громадный опухшій языкъ, который занималъ весь ротъ, этотъ языкъ шевелился. . . .

Хриплые, раздѣльные звуки, прерываемые кашлемъ, стали вылетать изъ горла. Языкъ двигался, какъ полѣно и не въ силахъ былъ говорить. . . . Я ловилъ этотъ хрипъ, эти звуки, какъ ловятъ послѣднюю волю умирающаго, окружающіе его родные. И я поймалъ ! ! . . .

Это слово было «зачѣмъ» ? Но «зачѣмъ», вырвавшееся такимъ мучительнымъ крикомъ, возгласомъ такой злобы, такого негодованія и такого страшнаго страданія, что морозъ побѣжалъ по моимъ жиламъ и я сталъ понимать, что я пробудилъ этотъ трупъ лишь для сознанія его смерти и разрушенія его тѣла. А онъ напрягался и языкъ его издавалъ мычанья, въ которыхъ мнѣ слышались проклятія, и руки напрягались, чтобы подняться, и лишь ноги съ перегнившими связками суставовъ не были въ состояніи разогнуться. . . .

Онъ всталъ. Всталъ на своихъ опухшихъ ногахъ и хотѣлъ сдѣлать шагъ ко мнѣ. . . . Но ужасъ, охватившій меня, заставилъ меня содрогнутся, напряженіе моей воли разрушилось и онъ упалъ не поддержанный болѣе мною и

забился на прибрежной галькѣ во вторичной мучительной смертельной агоніи.

Это не было сномъ. Я видѣлъ, какъ затихли его судороги и вырвался послѣдній вздохъ изъ клокочущей груди, и разложеніе послѣ минутной задержки стало еще сильнѣе. Трупъ лежалъ теперь ничкомъ, разметавъ руки, и не были видны его страшные глаза. . . . Я поднялся. Луна поднялась высоко и золотила зыблющіяся морскія дали. Иллюминація погасла, набережная была пустынна. Было очень поздно. Шатаясь, плохо соображая, гдѣ я и что со мною, подвигался я по уснувшему городу и съ трудомъ добрелъ до гостинницы. Уныло, почти противъ воли, поднялся я въ свой номеръ и легъ — мнѣ ничего не хотѣлось: я сознавалъ одно, что я умеръ на половину, что моя нервная система расшатана, и половина моего «я» умерло съ этимъ мертвецомъ. Я сейчасъ же, какъ легъ, такъ и заснулъ, но мнѣ не спалось, и хоть я былъ увѣренъ, что событія этой ночи не сонъ и не бредъ, я, едва начало свѣтать, пошелъ на набережную. Трупъ лежалъ тамъ же, но лежалъ ничкомъ, со странно раскинутыми руками. И едва начало свѣтать, какъ любопытные стали собираться вокругъ трупа. Многіе изъ нихъ были и вчера и видѣли и сами укладывали утопленника лицомъ наверхъ и складывали ему руки на груди и видѣли, что онъ лежитъ теперь ничкомъ на животѣ, и думали, и говорили, что это море его перевернуло. Море! Ха-ха! Спокойное незыблющееся море

повернуло трупъ и раскидало ему руки! Море! Какъ наивны и какъ тупы созданія, именуемыя людьми! Я зналъ, что этотъ трупъ унесъ частицу моей души, моей воли, моей нравственной силы въ міръ тѣней, и мнѣ было такъ же жутко, какъ должно быть жутко, смотрѣть на свой трупъ.

Я похоронилъ его. Я проводилъ его на кладбище и посмотрѣлъ, какъ его зарыли. Аминь... Онъ болѣе не пошевелится и не воскреснетъ ни отъ чьей воли и не отъ чьихъ взоровъ, но я.... Я погибаю. Я лечусь, или вѣрнѣе меня лечатъ. Но можно ли вернуть то, что ушло въ иной міръ, можно ли возсоздать душу, или хотя часть души ваннами, душами или электричествомъ. Та часть души, что ушла отъ меня въ праздничный, веселый день, когда горѣла иллюминація и летали ракеты и римскія свѣчи, та часть души, что похитилъ у меня таинственный утопленникъ, зоветъ меня. Я умираю...

* *
*

На этомъ прервалась рукопись больного. Я отдалъ ее доктору и спросилъ — возможно ли это?... Докторъ подумалъ немного, потомъ отрывисто засмѣялся, посмотрѣлъ на меня, потомъ подошелъ къ окну и, раскрывъ его настежь, сказалъ: «Какая дивная ночь. Пойдемтека, сыграемъ въ городскомъ саду партію въ безикъ и послушаемъ музыку»... Это былъ его отвѣтъ, я понялъ и не настаивалъ...

20 сентября 1900 г.
Ялта.

Хильда.

Все въ обстановкѣ Хильдерики Теодоровны было странно и необыкновенно. Тяжелая портьера со шнурками и гирьками совершенно затягивала окно и не пропускала внутрь ни свѣта фонарей, ни шума и суеты улицы.

Въ комнатѣ всегда было душно, пахло особенными духами, чѣмъ-то экзотическимъ. И пуфы въ видѣ громадныхъ трилистниковъ и японскіе божки на маленькихъ кронштейнахъ, со свирѣпыми рожами, смотрѣвшіе на ковры причудливаго рисунка, и маленькая фарфоровая Адамова голова, со вставленнымъ въ нее электрическимъ фонаремъ, свѣшивавшаяся съ потолка, и странные рисунки небывалыхъ растеній цвѣта крови, наконецъ, сама Хильдерика, или, какъ ее всѣ звали, Хильда, темная брюнетка съ огромными глазами, со спутавшимися на лбу кудрями, была такъ странна, такъ заманчиво прелестна, что немудрено, что молодежь вертѣлась подлѣ нея, какъ мотыльки вокругъ огня, обжигалась, падала и съ обожженными крыльями все-таки ползла на пламя.

И все подпоручики, студенты, юнкера. Имъ нравилось сидѣть въ ея капищѣ, у спущенной

занавѣси окна, и думать, что за окномъ не Троицкая улица и дровяной дворъ съ банями и тусклымъ освѣщеніемъ, а міръ тѣней, шороха и вздоховъ. И странно: веселая, здоровая, бодрая и умная Хильда Этингенъ напускала на себя болѣзненную томность, вливала атропинъ въ свои чудные глаза, и не говорила, а изрекала какія-то таинственныя слова. Ей это нравилось: ей, взбалмошной вдовѣ богатаго человѣка, это давало внутреннее содержаніе, держало на дистанціи молодежь, которая не чаяла души въ ней и боялась прикоснуться.

Эта любовь къ таинственному иногда разжигала ее самое и она хохотала нервнымъ хохотомъ, заставляя блѣднѣть самыхъ храбрыхъ и сильнѣе биться влюбленныя сердца.

Но были люди, которые разгадали фальшь ея поведенія, которые сняли напускное съ ея души и полюбили ее беззавѣтно.

Такимъ былъ поручикъ Звѣревъ, молодой веселый человѣкъ, самый страстный обожатель Хильды. Онъ приходилъ къ ней одинъ, когда «ея идолопоклонниковъ» не было, угрюмо садился на софу, ворчалъ на темный цвѣтъ обоевъ и драпировки, на то, что ему душно, а потомъ, когда природная доброта и веселость брали свое — онъ шутилъ и смѣялся.

— Хильда, — сказалъ онъ ей наканунѣ Сочельника, касаясь ея руки, — Хильда когда вы бросите весь этотъ вздоръ? Зачѣмъ портить чудные глаза атропиномъ, зачѣмъ эти темные

цвѣта, зачѣмъ смущать молодежь? Вѣдь я знаю, у васъ есть другія комнаты, вы ведете немного замкнутую, но иную жизнь.

Хильда улыбалась, и ясные, крупные ея зубы сверкали, какъ перламутръ.

— Я такая, Дмитрій Петровичъ. . . Въ тотъ день, когда я родилась, завывалъ вѣтеръ въ высокой трубѣ дома Тронгеймскаго пастора. .

— И слышенъ былъ топотъ рыцарей, стремившихся въ Валгаллу . . знаю, знаю, Хильда, — вы сами вѣрите этому вздору. . . . Ну отчего вы не сознаетесь, что вы родились въ Восьмой Рождественской улицѣ, въ сумрачный, но отнюдь не таинственный ноябрьскій день, и не тѣни рыцарей стремились въ Валгаллу, а чухонки со сливками ѣхали съ Лахты! . . .

— Проза, проза, проза! — качая головой, какъ китайскій божокъ, проговорила Хильда. — О, люди! Когда поймутъ они, что тѣло — лишь негодный мѣшокъ, который надо кинуть, и жить душой, стремясь въ безконечную высь! . . .

— Хильда! глупости вы говорите! Хильда, изрекайте это вашимъ мальчикамъ, у которыхъ нѣтъ ничего, кромѣ пустого обожанія, но не говорите этого мнѣ. Я вѣдь вашъ старый другъ, я зналъ васъ, когда вы были здоровы, бодры, веселы, что съ вами Хильда?!

— Вы любите меня — спросила Хильда, глядя ему въ глаза.

— О Боже мой, Хильда! Я уже два раза

просилъ вашей руки, и вотъ у ногъ вашихъ прошу третій. . . .

— Придите завтра, въ полночь, въ Сочельникъ и, едва часы кончатъ бить двѣнадцать, — я скажу вамъ — да! . . .

Звѣревъ былъ смущенъ.

— Хильда, зачѣмъ этотъ мистицизмъ! Вы знаете, я не люблю его. Скажите сегодня. . .

— Завтра въ полночь.

— Но Хильда. . . . Послѣзавтра. . . .

Глаза Хильды смѣялись.

— Хильда, вы знаете, я завтра заступаю въ караулъ, смѣнить меня некому. Постъ далекій, туда подъ Рождество никто не захочетъ идти. Хильда, согласитесь. . . . Если я заболѣю, я подведу товарищей. . . . Да и поздно. Пароль уже отданъ.

— Онъ у васъ?
— У меня.
— Покажите. . . .
— Но, Хильда, это секретъ.
— Отъ будущей жены?

Звѣревъ поблѣднѣлъ. Мучительная мысль бродила по его лицу. Въ сущности, что произойдетъ если онъ ей скажетъ пароль, или пропускъ? Караулъ существеннаго значенія не имѣетъ: ни денегъ, ни арестантовъ. . . . И потомъ, что можетъ сдѣлать Хильда? . . . ничего.

— Извольте. — Онъ подалъ ей синенькій конвертъ.

— Пароль — Харьковъ, отзывъ — св. Харлампій, пропускъ — хомутикъ, — прочла Хильда.

— Какъ странно — на мою букву, — задумчиво проговорила она. — Да, я вижу, вы не можете быть у меня. А это жаль. У меня будетъ елка, будетъ вся ваша полковая молодежь, будетъ весело, и, Дмитрій Петровичъ, — вдругъ задушевнымъ голосомъ договорила Хильда, — я увѣряю васъ — завтра я буду вашей невѣстой, и . . . и перемѣнюсь. . . .

Звѣревъ поникъ головой. Смѣниться . . уѣхать . . покинуть постъ . . . поступить на авось?! . . Пускай судятъ потомъ, но, что же дѣлать!? Я люблю, люблю эту женщину въ черномъ платьѣ, съ черными глазами, съ этими губами. . . Долгъ. . . Присяга. . . Примѣръ солдатамъ! . .

— Дмитрій Петровичъ, — проговорила Хильда, и вдругъ положила свою руку на его руку, — Дмитрій Петровичъ я явлюсь къ вамъ завтра въ полночь и скажу вамъ, какъ я люблю васъ. . .

— У васъ гости, Хильда. . . И это такъ далеко. . . За городомъ, пятнадцать верстъ. . .

— Дмитрій Петровичъ, вы не боитесь призраковъ?

— Я не вѣрю въ нихъ, Хильда.

— А, если бы мой призракъ явился завтра вамъ, вы, Дмитрій Петровичъ, повѣрили бы что я . . ну не совсѣмъ обыкновенный человѣкъ?

— Глупости, Хильда! — строго сказалъ Звѣревъ. — Мнѣ больно, Хильда, и, право, не до шутокъ.

— Какъ хотите.... Но я заставлю васъ повѣрить!

И она откинулась вглубѣ софы, на темную подушку, испещренную таинственными знаками. Молчаніе воцарилось въ комнатѣ, Хильда была блѣдна и нервно дышала. Дмитрій Петровичъ ходилъ взадъ и впередъ.

— Это невозможно, Хильда! Не можетъ это дольше такъ продолжаться. Я прошу, я умоляю дать отвѣтъ.... Я васъ люблю, Хильда, со всѣми вашими странностями.... Я жду....

— Завтра въ полночь, — чуть слышно произнесла Хильда.

— Послѣ караула, въ первый день праздника, Хильда, я буду у васъ.

Она не отвѣчала.

Дмитрій Петровичъ долго смотрѣлъ на нее... Это упрямство ему было не подъ силу; онъ вышелъ изъ комнаты....

Едва только стукъ запираемой двери достигъ до слуха Хильды, какъ она вся преобразилась Что-то кошачье, веселое и игривое сверкнуло въ ея глазахъ и, вскочивъ съ софы, она позвонила.

Вошла горничная.

— Маша, — сказала Хильда, — позови Ивана, я напишу письмо, пусть отнесетъ къ подпоручику Ненашеву. И чтобы нашелъ мнѣ обойщиковъ, которые согласились бы работать все утро перваго праздника, а теперь давайте одѣваться и прикажите лошадей....

...Я выхожу замужъ, Маша!...

II.

— Ваше высокоблагородіе, метель окончательно поднялась, не прикажете ли смѣну часовыхъ черезъ часъ дѣлать? — просовываясь половиной своего мощнаго корпуса въ офицерскую комнату гауптвахты, произнесъ караульный унтеръ-офицеръ Дорошевъ.

Звѣревъ сидѣлъ съ ногами на громадномъ кожаномъ диванѣ и чуть дремалъ.

— А морозъ?

— Морозъ лютѣетъ, ваше высокоблагородіе, такъ что люди даже жалятся, холодно имъ стоять, особливо на угловомъ посту.

— Ладно, смѣняй черезъ часъ.

— Вамъ докладать, ваше высокоблагородіе? — понизивъ голосъ, почтительно спросилъ Дорошевъ.

— Нѣтъ. . . . Если что будетъ, скажешь. Что, сильная метель?

— Свѣта не видно. Ништо. Бѣда, если кто въ полѣ.

— Да задуваетъ. . . .

— Могу идти, ваше высокоблагородіе?

— Ступай.

Мощная фигура скрылась, дверь на блокѣ жалобно скрипнула и въ комнатѣ стало тихо.

Эта большая комната, передѣланная изъ бывшей общей арестантской, была уныла въ ночные часы. Черный столъ, два табурета и громадный старый кожаный диванъ, — вотъ вся ея мебель. Сбоку дверь къ караульнымъ, въ глубинѣ дверь

на улицу. Тамъ совсѣмъ темно. Окно запорошено снѣгомъ, въ углу печка съ дотлѣвшими угольями и маленькое окошко съ рѣшеткой. Вѣтеръ воетъ и стучитъ вьюшками, голыя деревья шумятъ и качаются, со стономъ склоняясь подъ порывами бури.

Въ офицерской комнатѣ жарко, тихо, скучно и клонитъ ко сну. Книга брошена на столъ, голова плотнѣе прижимается къ спинкѣ дивана и дрема охватываетъ усталое тѣло.

Какъ будто глухо звякнулъ колоколъ на платформѣ у часового. . . Нѣтъ. Это только такъ показалось.

Теперь у Хильды гости. Она шутитъ, смѣется надъ нимъ. Елка горитъ яркими блестящими огнями и она не думаетъ о немъ. За окномъ сурово воетъ вьюга, стучитъ дверью и будто силится открыть её.

Звѣревъ поднялъ упавшую на грудь голову и пріоткрылъ слипавшіеся глаза.

Дверь медленно отворялась, оттягивая тяжелый блокъ. Вѣтеръ уже ясно сквозилъ и врывался въ комнату и пламя лампы трепетало.

— Кто тамъ? крикнулъ Звѣревъ. — Ты Дорошевъ?

Дверь открылась и сейчасъ же закрылась, пропустивъ въ комнату длинную, стройную фигуру запорошенную снѣгомъ. Въ ту же минуту большіе деревянные часы, висѣвшіе на стѣнѣ начали медленно бить двѣнадцать.

Въ сумракѣ большой комнаты у самой двери неяснымъ силуэтомъ рисовалась мутная неопредѣленная фигура. Она колебалась на фонѣ обитой черной клеенкой двери, и трудно было опредѣлить есть она на яву, или только грезится. . . Вотъ стала яснѣе, больше попала въ полосу свѣта отъ лампы, показались знакомые большіе черные глаза, точно сіяющіе изъ далекаго пространства. Глухой грудной голосъ донесся оттуда медленно и четко выговаривая каждое слово.

— Я пришла . . . какъ обѣщала . . . въ снѣжную метель . . . вихорь предковъ моихъ принесъ меня, презирая пространство... Теперь вѣришь? . . Я пришла потому, что душа моя жаждетъ тебя и знаетъ, что ты придти не можешь. . . . Твой долгъ тебѣ мѣшаетъ. . . . Твой долгъ. . . . Ты не измѣнишь службѣ, ты не измѣнишь и своей Хильдѣ. . . . Люби её. . . . Я повелѣваю. . . . Я . . . Въ далекой Норвегіи мои предки сказали мнѣ, что ты моя судьба. . . . И я пришла къ тебѣ . . . Сама. . . . Помни . . . Вѣрь . . . Люби . . трепещи и благоговѣй. . . . До завтра . . завтра . . завтра. . . .

Голосъ замиралъ, фигура точно таяла, вдругъ рѣзко распахнулась дверь, влетѣлъ порывъ ледяного вѣтра и задулъ лампу. Все погрузилось въ мракъ, призракъ быстро приблизился къ Звѣреву и ледяная рука коснулась его руки. Звѣревъ хотѣлъ схватить руку, но рука его скользнула по краямъ барашковой шапки, лежавшей на столѣ.

— Хильда! — крикнулъ онъ, наконецъ, — и самъ испугался своего голоса, такъ онъ былъ слабъ и такъ несмѣлъ. . . .

Никто не отозвался.

— Хильда! — крикнулъ онъ еще разъ. — «Хильда!», — повторило эхо въ углу комнаты и отдалось отъ печки и будто тяжкій вздохъ раздался въ комнатѣ.

— Нѣтъ, нѣтъ это невозможно, я сплю, это мнѣ снится. — Онъ хотѣлъ ущипнуть себя за руку, за ту руку, которой она коснулась. Она была влажна до сихъ поръ и знакомый запахъ ириса, ея запахъ, долетѣлъ до него. . . .

— Нѣтъ! — это на яву!

— Хильда, — крикнулъ онъ смѣлѣе.

За дверьми раздались чьи-то твердые шаги; Дорошевъ сердито крякнулъ за дверью и пріоткрылъ ее. Яркій свѣтъ полосой ворвался въ темную комнату и вмѣстѣ съ нимъ исчезъ весь ужасъ только-что происшедшаго.

Очевидно — это былъ сонъ.

— Чего извольте? — мрачно спросилъ унтеръ-офицеръ.

— Зажги лампу, — не видишь, погасла. Должно быть, керосину мало.

— Нѣтъ, оно керосину въ достаткѣ, а только фитиль вы изволили приспустить. . . .

— Фитиль? — спросилъ изумленно Звѣревъ, — я приспускалъ фитиль?! Что ты врешь. . . .

Лампу зажгли, принесли въ комнату, и посыльный, приносившій ее, ушелъ. Звѣревъ хотѣлъ

приняться за книгу, какъ вдругъ взглядъ его сталъ неподвиженъ, книга выпала изъ рукъ, и онъ почувствовалъ, какъ волосы шевелятся на его головѣ.

Онъ увидалъ рядъ мелкихъ и мокрыхъ слѣдовъ, которые шли отъ дивана къ выходной двери. Слѣдовъ входящихъ не было, были только выходящіе. Значитъ, онъ не спалъ, значитъ, это не былъ сонъ, а было то ужасное, о чемъ онъ никогда не думалъ, потому что не смѣлъ думать.

Призракъ Хильды являлся ему!

Спросить солдатъ, часовыхъ... Но что спросить и какъ спросить, когда самъ не знаешь, что было. Онъ пошелъ по слѣдамъ къ двери и открылъ ее.

Ночь была темная. Вьюга продолжалась. Фонарь, горѣвшій на платформѣ, едва-едва освѣщалъ кусокъ пространства и оно все серебрилось отъ бѣлыхъ пушистыхъ снѣжинокъ. Деревьевъ не было видно. Часовой, будка, колоколъ — все исчезло во мракѣ, сквозь который чуть виднѣлся хаосъ снѣжинокъ.

Эту ночь Звѣревъ не спалъ. Онъ сидѣлъ отъ смѣны до смѣны, ходилъ къ солдатамъ, шутилъ съ разводящимъ. Онъ боялся темноты, боялся одиночества.

Подъ утро вьюга стихла, но успокоеніе не вернулось къ Звѣреву, онъ ждалъ смѣны и возвращенія домой. Тамъ была у него одна надежда: — спросить у Ненашева, что дѣлали у Хильды въ эту ночь....

III

— Представь, — говорилъ розовый и безусый Ненашевъ Звѣреву, еще въ караульной формѣ заѣхавшему къ нему. — Вечеръ не удался. Хильда въ десять часовъ почувствовала дурноту. Потомъ съ ней сдѣлалось головокруженіе и глубокій обморокъ. Ее отнесли въ спальню и положили. Ей не дѣлалось лучше. Маша сказала, что это съ ея барыней и раньше бывало и что это длится часами. Мы разъѣхались. А сначала она была очень нервна, возбужденная такая и прорицала, какъ никогда. Тебѣ предсказала скорую свадьбу.

Звѣревъ хмуро слушалъ.

— Ну, спасибо, — сказалъ онъ, порывисто пожалъ руку Ненашеву и направился къ выходу.

— А какая веселенькая у Хильды спальня! вотъ уже мы не думали! — крикнулъ ему вслѣдъ Ненашевъ.

Звѣревъ ничего не отвѣтилъ, даже не обернулся.

Наступилъ вечеръ. Тоскливый ужасный вечеръ. Его тянуло къ Хильдѣ, но онъ боялся ѣхать къ ней, онъ чувствовалъ отвращеніе ко всему сверхъестественному. И ночи онъ боялся, и одиночества и темноты. Первый разъ испытывалъ онъ страхъ передъ существомъ, невѣдомымъ и непонятнымъ ему. Этотъ страхъ былъ ужасенъ, потому что отъ него нигдѣ нельзя было спастись — онъ былъ мистическій, сверхъестественный, нечеловѣческій.

Любовь и ужасъ сроднились въ немъ въ одно чувство, и онъ не зналъ, что больше было — ужасъ или любовь. . . Онъ метался по комнатѣ, не находя себѣ мѣста, вздрагивалъ, раздражался.

Деньщикъ прошелъ къ нему и доложилъ, что барабанщикъ желаетъ его видѣть.

— Что? какой барабанщикъ? — разсѣянно спросилъ Звѣревъ.

— Изъ караула.

— Ну позови.

Вошелъ барабанщикъ. Лицо его было сконфужено и глупо улыбалось.

— Ваше высокоблагородіе, — проговорилъ онъ, — вотъ кошелекъ, барышня, давѣ пріѣзжала и обронила.

— Какая барышня?! Какой кошелекъ?

— Да та, ваше высокоблагородіе, — началъ объяснять барабанщикъ, — что сегодня ночью въ каретѣ на гауптвахту пріѣзжала.

— Ну?! — лицо Звѣрева прояснялось.

— Часовой пускать не хотѣлъ.

— А она?

— Она говоритъ: — напрасно, потому что мнѣ Дмитрія Петровича поздравить хочется и они просили, и пропускъ я знаю — хомутикъ. Ну часовой и позови караульнаго, тотъ допросилъ, видитъ дѣло правильное — ее и впустили. . .

— Ну спасибо, спасибо! — весело сказалъ Звѣревъ, — на вотъ тебѣ, землякъ, на чай, —

и онъ сунулъ въ руку растерявшемуся отъ неожиданнаго счастья барабанщику золотой.

— Солдатъ долженъ быть честенъ! — читалъ онъ ему прописную мораль, весело потирая руки.

Черезъ часъ онъ нашелъ Хильду въ свѣтлой, убранной цвѣтами гостиной. Съ радостной улыбкой принимала она жениха.

— Я знала, Дмитрій Петровичъ, что вы не испугаетесь призрака! — говорила она.

— И вы ошиблись, Хильда, — я испугался. И если бы не барабанщикъ, принесшій мнѣ вашъ кошелекъ, я не знаю — уцѣлѣлъ ли бы мой потревоженный умъ!

— Ну, а теперь все кончено. Не такъ ли? Я дурачилась послѣдній разъ.... Мнѣ было скучно, надо что-нибудь дѣлать.... И я люблю тебя.... Потому и дурачилась, что любила.... А ты.... Ты любишь?... Но отвѣта не послѣдовало. Горячій поцѣлуй помѣшалъ словамъ.

С.-Петербургъ.
1899 г.

Письма матери.

I.

Николай Ивановичъ Боковъ рылся въ шкатулкѣ съ письмами и бумагами. Тамъ у него были спрятаны два запасные сторублевые билета, и они теперь, въ сочельникъ, понадобились ему. Утромъ отъ Вари Фишеръ онъ получилъ записочку: устраивался пикникъ на Иматру, елка въ лѣсу, поѣздка въ Гельсингфорсъ, словомъ, что-то очень веселое, и Варя просила Николая Ивановича быть ея кавалеромъ. И, конечно, онъ будетъ. Эта поѣздка влетитъ рублей въ триста, но у него еще кое-что осталось, а тамъ... послѣ... послѣ можно будетъ занять.

По крайней мѣрѣ это будетъ настоящій праздникъ, уѣдешь отъ этой сѣрой толпы на Невскомъ, отъ этихъ газетъ, переполненныхъ глупыми рождественскими разсказами съ мертвецами и привидѣніями, — по крайней мѣрѣ забудешься на время И ему рисовалось уютное купэ, Варя въ соболиной накидкѣ съ большими глазами и черными выпуклыми бровями, нѣжный пушокъ на щекахъ и ароматъ духовъ и женщины, которымъ сейчасъ же пропитается и купэ, и номеръ гостинницы на Иматрѣ

Онъ нашелъ деньги, отодвинулъ шкатулку и приготовился писать отвѣтъ Варѣ. Въ это время

взоръ его упалъ на другое письмо, съ загородной маркой, полученное вмѣстѣ съ Варинымъ, но еще не распечатанное. Онъ взялъ его и распечаталъ. Письмо было отъ старухи-матери изъ далекаго степного хутора. Мать, извиняясь, просила сына прислать ей двѣсти рублей. Ей предстоятъ банковые платежи, урожай былъ плохъ, школа обѣднѣла, ихъ долгъ, какъ единственныхъ помѣщиковъ, помочь школѣ; надо заплатить и ветеринару, а денегъ нѣтъ. Она вернетъ Николашѣ, она знаетъ, что ему тамъ, въ столицѣ, нельзя безъ денегъ; она вышлетъ сейчасъ же, какъ продастъ шерсть, оставшуюся съ осени, и получитъ арендныя; но ей только бы теперь перебиться. «Особенно школа, — писала старуха, — меня безпокоитъ. Ты знаешь какъ я скучаю зимою въ одиночествѣ, только школа меня и развлекаетъ. Я живу тобою и ею. Но ты, мой милый, далеко, а школа меня хоть немного да развлекаетъ. Если не можешь двухсотъ, пошли хоть полтораста — я, право, постараюсь вернуть». — Затѣмъ шли пожеланія, благословенія и поздравленія. Ихъ Николай Ивановичъ уже не читалъ. Онъ швырнулъ письмо въ сторону и прошелся по мягкому ковру холостого кабинета.

О! Эта деревня! Ей вѣчно подавай деньги... И ему представилась большая низкая комната съ глинобитными стѣнами, столъ, накрытый пестрой скатертью, самоваръ и передъ самоваромъ морщинистая полная старуха. Ему вспомнились ея радостные глаза, подернутые слезами, ея улыбка, полная какого-то неземного счастья, когда она

встрѣчала его въ дни рѣдкихъ пріѣздовъ въ деревню... Какъ тамъ теперь должно быть скучно! Эта толстая учительница Ольга Михайловна торчитъ вѣчно въ домѣ. А эти разговоры, сѣтованія, возгласы радости и надоѣдливыя ухаживанія! Нѣтъ, Богъ съ ними, съ этими старухами! Надо пользоваться жизнью, пока молодъ. А тамъ наступитъ старость, и будетъ не до наслажденій. На что́ имъ двѣсти рублей! На школу! Скажите, пожалуйста, какія меценатки выискались! А онъ изъ-за этого долженъ киснуть у себя въ квартирѣ и знать, что Варя уѣхала съ другимъ. Нѣтъ, милая мамаша, я не могу вамъ послать этихъ денегъ... Да и поздно... Письмо залежалось въ благословенной Туровкѣ. Были мамаша и вы молоды, и вы такъ думали...

Николай Иванычъ подошелъ къ окну и посмотрѣлъ на улицу. Погода стояла чудесная. Небо сверкало миріадами звѣздъ, снѣгъ искрился при электрическомъ свѣтѣ. Санки неслись, всюду сновалъ радостный народъ. Въ противоположномъ домѣ зажигались огни елки, дѣти веселымъ хороводомъ кружились. Погода, оживленіе улицы манили на воздухъ...

Написать отказъ, холодный, вѣжливый, немного чувствительный, и идти къ Варѣ. Сидѣть у ней на мягкомъ пуфѣ, смотрѣть въ ея синіе глаза и любить!..

II.

Николай Ивановичъ спустилъ портьеру, сѣлъ за столъ и быстрымъ движеніемъ отодвинулъ ящи-

чекъ съ письмами. Нѣкоторыя выпали отъ этого движенія и остались на столѣ. Николай Ивановичъ взялъ ихъ: это были старыя письма его матери къ ея подругѣ, покойной Аннѣ Тѣстовой. Наслѣдники Тѣстовой передали ихъ Николаю Ивановичу, онъ много мѣсяцевъ собирался ихъ переслать матери и все не собрался. Машинально онъ взялъ одно изъ нихъ. Оно было писано двадцать лѣтъ тому назадъ, — писано бойкимъ молодымъ почеркомъ. Писали о немъ, о Николаѣ...

«...Какъ ни соблазнительно мнѣ твое предложеніе, милая Нюточка, я не могу имъ воспользоваться. Да, я люблю Петербургъ всѣмъ сердцемъ, я не живу безъ него и внѣ его, мнѣ скучно въ Туровкѣ, итальянская опера мой кумиръ, но, Нюта, я — мать! На кого я оставлю моего сына, кому поручу уходъ за нимъ! Я слишкомъ люблю его, слишкомъ дорожу его воспитаніемъ — вся моя жизнь въ немъ, и ради него я остаюсь»...

Николай бросилъ это письмо и взялъ другое.

«Ты упрекаешь меня, милая Нюта, что я бросила свѣтъ, что я не рисую, не пою, не танцую. Мнѣ некогда... Весь день мой беретъ нашъ Коля. Моему мужу нельзя съ нимъ заниматься, и я весь день вожусь съ милымъ ребенкомъ. Онъ не говоритъ еще, но все понимаетъ. Ты смѣешься, бездѣтная моя подруга, ты не вѣришь но, увѣряю тебя — это такъ. У него свой языкъ маленькаго дикаря, рядъ отдѣльныхъ восклицаній, въ которыхъ только интонація мѣняется. Но я его понимаю. Когда онъ увидитъ, что чего-нибудь нѣтъ, онъ такъ мило разводитъ ручонками и

удивленно говоритъ: «а-а!» А когда что-нибудь его поразитъ своей величиной, онъ даже баситъ. Нынѣшнимъ лѣтомъ у насъ гостилъ дядя Петя съ женой. И мы возили Николеньку смотрѣть, какъ онъ стрѣляетъ птицъ на охотѣ. Звукъ выстрѣла крайне поразилъ Колю: онъ подымаетъ ручку вверхъ и преуморительно говоритъ «пу!». И теперь зимой — дядя Петя умеръ, и о немъ позабыть успѣли, а спросишь Колю: «гдѣ дядя Петя?» — онъ подыметъ ручку, скажетъ «пу?», а потомъ разведетъ ручками — дескать, нѣтъ!..»

Николай Ивановичъ бросилъ и это письмо и взялъ слѣдующее.

«Я не писала тебѣ, Нюта, два мѣсяца; но эти два мѣсяца я провела въ тоскѣ, безъ сна. Коля былъ боленъ. О, зачѣмъ эти дѣтскія болѣзни, зачѣмъ нужно постоянно трепетать за жизнь своего кумира! Теперь онъ, слава Богу, поправился. Но что̀ это было за время! Ты не узнала бы меня, дорогая Нюта. Я стала совсѣмъ старухой. Что дѣлать! Зато, кажется я облегчала его страданія во время болѣзни. Сколько разъ, ворочаясь въ жару, онъ спрашивалъ: «Мама, ты здѣсь?» И я брала его ручку въ свою, и онъ тихо засыпалъ. Я отстояла его и у тифа, и у скарлатины, я какъ часовой, берегла его отъ смерти, и онъ мнѣ еще дороже, еще милѣе...»

Николай Ивановичъ глубже усѣлся въ кресло. Онъ не кидалъ уже письма, но бережно складывалъ ихъ и подбиралъ одно къ другому.

«Ты не понимаешь, Нюта какъ я могла такъ скоро потерять красоту.' Да, я не берегла ее.

Красота нужна самой себѣ, нужна мужчинамъ, которые ею играютъ, а ребенку нуженъ уходъ и ласка. Ты говоришь: этотъ маленькій эгоистъ. — Мой маленькій богъ, отвѣчу я! А, какъ пріятно сознавать, что ты для него все!..»

«Нѣтъ, Нюта, — писалось въ слѣдующемъ письмѣ: — я не на пескѣ строю зданіе. Тотъ фундаментъ любви и правды, который я вложила въ него, крѣпокъ. Коля одинъ у меня, и когда я останусь одна — я буду его, и онъ не покинетъ меня—я тоже эгоистка, я берегу свою старость!.»

Быстро сложивъ это письмо, Николай Ивановичъ взялся за слѣдующее. Вся жизнь его и его матери проносилась передъ нимъ. Когда онъ худо себя велъ, когда онъ нехорошо учился — мать на него не жаловалась.

«Счастье ли въ ученьи, Нюта, — не знаю. Ну, что̀ дѣлать. Навѣрно, къ нему придрались, его оскорбили неправильными замѣчаніями. Мнѣ жаль Колю. Пусть изберетъ военную карьеру. Итакъ, онъ слишкомъ занятъ. Все рѣже и рѣже пишетъ мнѣ. Наука его замучила. «Ты все та же», — пишешь ты мнѣ, Нюта. Да, все та же. Я живу имъ. И какъ я жалѣю, что не знаю латыни и не могу помогать ему. Вотъ когда поплачешь, что женщины плохо образованы. Я учу за него уроки, я готовлюсь, чтобы объяснять ему то, чего онъ не понимаетъ. Зато по Закону Божьему, по русскому языку, по французскому и по исторіи у него — пять. Я лѣтомъ учу его на всю зиму!..»

«Боже, Нюта! Цѣлый годъ отъ него не было ни одного письма! Живъ ли онъ, здоровъ ли?

Сходи, милая, узнай! У нихъ въ училищѣ такъ тяжело. Онъ, можетъ быть, боленъ. . . Я такъ изстрадалась! . .»

Этотъ годъ Николай Ивановичъ превесело проводилъ время, и ему было не до писемъ. Кровь ударила ему въ голову, и на лбу проступили мелкія капли пота.

Вотъ и послѣднія письма.

«Я получила два письма. Какъ все у нихъ дорого! Нужно двѣ тысячи на лошадь и тысячу на экипировку. Я думала, онъ выйдетъ въ нашъ городъ, въ драгунскій полкъ, поближе ко мнѣ. Онъ вышелъ въ гвардію. Что дѣлать! Помоги ему Богъ! Но какъ это страшно дорого! Я заложила, скрѣпя сердце, Туровку. . .»

. . . .

«Онъ пріѣхалъ, Нюта, онъ пріѣхалъ! .. Я не могу писать! Мнѣ некогда. Я не знаю, была ли въ жизни моей болѣе счастливая минута, какъ та, когда я увидѣла его и приняла въ свои объятія. Какой онъ большой, какой красивый! . . Я не могу писать... Волнуюсь, да и некогда. Бѣгу на кухню: онъ сказалъ, что любитъ грибы, надо посмотрѣть, чтобы Захаръ ихъ не пережарилъ. .. Ихъ отпустили на полтора мѣсяца. Какое блаженство! Цѣлыхъ шесть недѣль мы будемъ вмѣстѣ. Во мнѣ столько силы. Я помолодѣла на десять лѣтъ, Нюта! . .»

Слѣдующее письмо уже было полно грусти.

«Нюта, ему скучно со мной, — я это вижу. Мы разные люди, мы другъ друга не понимаемъ. Что же дѣлать: онъ молодой, а я — старуха. На-дняхъ онъ ѣдетъ къ сосѣдямъ, тамъ много

барышень, звалъ и меня, но развѣ я не понимаю, что буду тамъ только помѣхой — я рѣшила остаться. Иногда мнѣ становится тяжело — мнѣ не того хотѣлось... Ждала, мечтала... Видно, наша доля женская такая...»

III.

Больше писемъ не было. Вся жизнь его матери, за двадцать съ лишнимъ лѣтъ, передъ нимъ. Эта жизнь была вся посвящена служенію ему. Молодость, красота, любовь — все было принесено въ жертву маленькому божку — Колѣ. А что получилось? Со стыдомъ почувствовалъ Николай Ивановичъ, что онъ не понялъ и не оцѣнилъ своей матери. Рядъ капризовъ, неуспѣховъ въ ученіи, требованіе денегъ, иногда въ самой грубой формѣ, было наградой за ея заботы. Сколько прошло великихъ дней сочельника, въ которые она волновалась и хлопотала, придумывая, какъ лучше и роскошнѣй обставить елку. Дрожащими руками зажигала она ее, смотрѣла полными слезъ глазами на своего сына. И не слыхала она отъ него ни слова благодарности. Точно такъ надо было!

Онъ выросъ. Онъ повелъ самостоятельную жизнь и бросилъ ее одну въ деревенской глуши, среди мелкихъ будничныхъ заботъ. Она ждала того дня, когда сильной мужской рукою сниметъ онъ съ нея эти заботы, когда окружитъ ее мягкой сыновней лаской.

Двадцать лѣтъ жизни отдала она за эту мечту, такъ и оставшуюся мечтой. И она окружила себя

чужими дѣтьми, горячо принялась за школьное дѣло. Ей нужна поддержка. Неужели онъ не вернетъ ей ея денегъ?!..

Откинувъ портьеру, онъ приникъ горячимъ лбомъ къ холодному стеклу окна. Яркія звѣзды мигали на темно-синемъ небѣ, свѣтили тихо и радостно надъ шумными улицами. Эти звѣзды видны и изъ занесенной снѣгами, утонувшей въ безконечномъ просторѣ степей, усадьбы. Тихо мерцаютъ онѣ надъ высокими тополями, надъ таинственнымъ переплетомъ покрытыхъ инеемъ вѣтвей дубовъ, липъ и акацій, отражаются на льду пруда. На бѣломъ снѣгу двора красными пятнами отсвѣчиваютъ окна небольшого бѣлаго дома. Простая лампа стоитъ на столѣ, накрытомъ тяжелой скатертью, и кидаетъ красный кружокъ на потолокъ. За столомъ, со старыми истрепавшимися картами, сидитъ полная женщина. Ея когда-то красивое лицо изрыто морщинами, добрые, сѣрые глаза безконечно грустны. Черная кружевная косынка покрываетъ посѣдѣвшіе волосы. И сколько тоски и молитвы, сколько любви и печали въ ея взорѣ. Тихо въ комнатѣ. Лампада передъ иконой Николая Чудотворца въ серебряныхъ ризахъ мигаетъ по временамъ. Пасьянсъ брошенъ. Женщина о чемъ-то напряженно думаетъ. И вотъ сбѣжала одна слеза, за ней — другая. Фуляровый платокъ взятъ изъ кармана, и торопливо утираетъ она эти слезы. О чемъ ей плакать? — Вѣдь ему хорошо!...

Что это? Теплая слеза выкатилась изъ глазъ молодого человѣка и упала на ледяное стекло. Снизу доносился шумъ толпы, звонки конокъ,

грозные окрики кучеровъ. Тамъ кипѣла жизнь. Оттуда сверкали бархатистые вѣроломные глаза Вари, виднѣлись ярко освѣщенная гостиная и полутемный балконъ, озаренный электрическимъ фонаремъ. На мягкой мебели у символическихъ ширмъ сидитъ теперь Варя. И противъ нея въ куцомъ фракѣ поэтъ Лебединскій торжественно читаетъ свое новое произведеніе. Онъ отрицаетъ въ немъ любовь, отрицаетъ все святое на землѣ. Ему рукоплещутъ. Студентъ цѣлуетъ ручку Вари, за нимъ тянется чернобородый инженеръ, румяный артиллеристъ сѣлъ за рояль и прыснулъ оттуда кафешантанной венгеркой. И ни слова про него, ни вздоха, ни мысли о немъ на этомъ бѣломъ лбу въ этихъ лучистыхъ бархатныхъ глазахъ. . .

И звѣзды, не волнуясь, не блѣднѣя, спокойно смотрятъ на шумный городъ, на уснувшія рѣки, на тихія деревни и на необъятный просторъ степей. Имъ все равно. . .

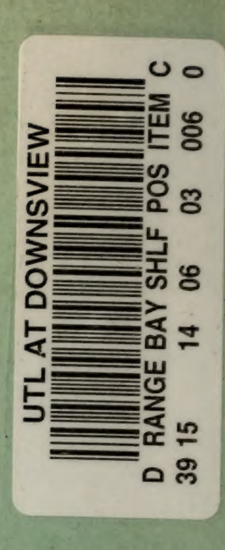
Николай Ивановичъ быстро всталъ. Онъ собралъ свои деньги, положилъ ихъ въ бумажникъ. Бережно перевязалъ онъ письма матери и спряталъ ихъ въ шкатулку. Взялся-было за перо, да бросилъ. Позвалъ человѣка, приказалъ достать чемоданы. «Скорѣе, скорѣе — думалъ онъ: — еще поспѣю на курьерскій». Маленькій домикъ, высокіе тополя, раскидистые дубы, а главное старушка въ черной кружевной косынкѣ вдругъ стали ему такъ несказанно дороги въ эту минуту. . .

С.-Петербургъ.
1899 г.

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

PG
3467
K7P63
1921
c.1
ROBA


UTL AT DOWNSVIEW
D RANGE BAY SHLF POS ITEM C
39 15 14 06 03 006 0